





ЛИЦОМ

Фантазия

на тему судьбы

Эрнст БУТИН

Рисунки О. Шапкина

К ЛИЦУ

«И похоже это на правду! Все похоже на правду, все может случиться с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

Н. В. Гоголь. «Мертвые души»

1.

Перед тем как покончить с собой, решил Юрий Иванович съездить на родину, туда, где прошло детство и отрочество, где закончил он школу и отсюда самоуверенно отправился покорять жизнь. Мысль о поездке лениво шевельнулась уже тогда, когда Юрий Иванович, сгорбившись перед печкой, равнодушно рвал накопившийся за долгие месяцы и годы бумажный хлам — всю ту макулатуру, которую еще недавно называл многозначительно рассказами, незаконченными повестями, набросками романов и сценариев. Иногда начинал было читать случайно подвернувшийся на глаза текст, и тогда одутловатое, с всклокоченной бородой лицо застывало в надежде, а в заплывших потухших глазках появлялось ожидание, но тут же ожидание это сменялось досадой и отвращением, щеки покрывались свекольным румянцем стыда, губы складывались в брезгливую усмешку. «Черт, какая дурь!.. Надо же было писать такую бодягу!» Юрий Иванович тяжело ворочался, сгребал обеими руками ворох своих творений, запихивал в топку. Он торопливо и с удовольствием поджег газетный лист со своим рассказом, в котором взгляд успел выхватить «...заиграл желваками, и лицо прораба исказилось гневом...». Сунул растопку в печь, подумал злорадно: «Играй теперь желваками, искажайся гневом, товарищ прораб!»

В этот теплый летний день тяга в трубе была никудышной, огонек, попорхав синей прозрачной бабочкой по упрессованной бумаге, умер, оставив лишь черные обугленные дорожки. «Сгнишь, миленькая, сгнишь, собака», — Юрий Иванович щелкнул зажигалкой, ткнул ее в печь. Не-

хотя ожило пламя, нехотя облизнуло бумагу, нехотя вильнуло влево-вправо и зарезвилось, разрастаясь. Заворочались лохмотья рукописей, заизвивались, выгибаясь, вспучиваясь, скручиваясь в раскаленные жгуты. Что-то ухнуло, точно выстрелило, вышвырнуло в лицо пригоршню веселых искр, мотыльковую стайку хлопьев сажки, обгорелых листков, и печка загудела, сплошь заполнилась плотным желто-голубым полыханием. Юрий Иванович смотрел, как корчатся его работы, и не шевелился.

Только когда огонь зачих, превратившись в судорожные проблески, изредка скользившие по шевелящимся ломким пластам черной золы, он отвел глаза от топки. Поднял с пола обуглившуюся страницу из тетрадки в линейку. Хотел было смять ее и швырнуть догорать, но узнал свой, еще юношеский, крупный и неустоявшийся почерк. Прочел со снисходительно-презрительной улыбкой: «...истончившиеся посредине мраморные ступени. Сколько ног прошло по ним, сколько выпускников, полных надежд на яркое и неповторимое будущее, ушло отсюда в жизнь. Сначала это были гимназисты, которые мечтали стать гвардейскими офицерами, крупными чиновниками, фабрикантами и заводчиками. Но стали они онегинскими и печоринскими, ионычами и белогвардейцами, чтобы закончить свой жизненный путь или на тихом провинциальном кладбище, или, презираемые трудовым народом, быть убитыми в гражданскую войну, или, превратившись в эмигрантское отребье, умереть от нищеты в каком-нибудь Париже. Социально-классовая ограниченность, эгоизм, нежелание жить подлинными интересами народа, неумение работать и презрение к труду сделали этих людей «лишними», «прорехами на человечестве».

Совсем другой стала школа в советское время. Сотни ее выпускников самоотверженно трудятся на заводах и стройках, колхозных и совхозных полях, внося весомый вклад в развитие народного хозяйства. У нас нет и не может быть «лишних» людей, потому что ясные цели, высокий смысл жизни наполняют оптимизмом сегодняшних школьников, перед которыми открыты все дороги. Выбирай любую и на любом попр-



щё тебя ожидает радость труда, яркая, наполненная жизнь, стоит только...»

— Гляди, какой шустрый я был,— буркнул Юрий Иванович.— «Яркая, наполненная жизнь...» Борзописец.

Он вспомнил этот текст. «Что нам дала школа?»— последнее домашнее сочинение десятого класса. Вспомнил, как, почти не задумываясь, строчил его на уроке географии, вгоняя в гладкие предложения то содержание, которое требовалось. Вспомнил, как, получив традиционную пятерку за это сочинение, выслушивал такие же традиционные похвалы и, притворяясь смущенным, посматривал исподтишка — покровительственно и горделиво — на соучеников. И сразу же Юрий Иванович увидел свой класс: с геранями на подоконниках, с неуклюжими партами, толстенные столешницы которых были окрашены черным лаком, но лак этот не мог скрыть, а лишь сглаживал глубоко вырезанные рисунки и инициалы; увидел коридоры школы со стенами салатного цвета, потемневшими и засаленными к концу учебного года; увидел и лестницу с ее перилами ядовито-вишневого цвета, с мраморными серыми ступенями.

И вдруг Юрий Иванович сразу, целиком представил тихий и сонный Староновск с его дореволюционно-провинциальными широкими улицами,

с беленькой церковкой на необъятной площади, поросшей жесткой, точно проволочной, травкой, с гомоном и драками галок в тополино-липовом Дурасовом Саду на берегу неподвижной речки Нелеты. Юрий Иванович зажмурился и чуть не застонал: неожиданно показалось ему, что он на веранде своего староновского дома — маленького, казенного коттеджика, обшитого окрашенными золотистой охрой досками, и даже увидел веселое, как пестрый ситец, калейдоскопное множество цветов под ногами. Как уж мать умудрялась, бог весть, но, сколько помнит себя Юрий Иванович, каждый год перед крыльцом и далеко в огород алели, синели, желтели с ранней весны до первого снега какие-то неведомые цветы; летом, в жужжании пчел, гудении шмелей, стрекоте кузнечиков, стояло над ними невидимое облачко аромата, особенно пряного и расслабляющего в теплых сумерках, когда раскрывались ночные фиалки. С этим запахом у Юрия Ивановича навсегда слилось представление о детстве.

— Так. Галлюцинации на почве ностальгии,— он наморщил лоб, поскреб ногтем переносицу.— Это уж совсем ни к чему.

Опираясь на табуретку, с трудом поднялся. Захлопнул дверцу печки, закрыл трубу, смахнул веником пепел в угол и побрел в свою комнату,

держа двумя пальцами, на отлете, словно мокрую тряпку, листок сочинения.

— Развязать, что ли, по такому случаю? Что-то уж совсем тоскливо стало.

Он опустился на железную койку, отчего пружины под его грузным телом взвизгнули. Оглядел с отвращением жилье с выцветшими обоями на стенах, с обшарпанным столом, покрытым замазюканными газетами, с фанерным ящиком в углу, час назад набитым рукописями, а сейчас пустым, похожим на огромную квадратную пасть.

— Может, взять маленькую? — Юрий Иванович раздумчиво посмотрел в пыльное окно и, поразмышляв, вздохнул. — Не... Не стоит. Загребут опять, и поедешь ты, Юрий Иванович, как тунядец, на стройки народного хозяйства, а не к морю.

У него давно, еще когда жил с последней женой, появилась привычка разговаривать с самим собой. Закрепилась эта привычка уже здесь. Проснувшись до зари, он часами слушал, как хозяйка — застенчивая, глухая старушка — беседовала с таким же престарелым котом: «Ишь, барин какой, макароны он, гляди-ко, не хочет. Мяса ему подавай. А мышей ловить тебя и нетути. Вот ловил бы, тут тебе и мясо. Ох ты, озорной мальчишка...» Иногда жирный и ленивый кот забредал, пошатываясь, в комнату жильца, равнодушно смотрел на человека желтыми стеклянными глазами. Юрий Иванович подхватывал его, тяжело и апатично свисающего на руках, клал на колени. «Ну что, Илья Ильич, не хочешь ловить мышей? Или уже не можешь? Я тоже что-то, брат, давно не ловлю... Ух ты, Обломов, ух ты, озорной мальчишка, не стыдно? Совсем обленился, сибаритствуешь. Нехорошо, берешь пример с меня...» Юрий Иванович почесывал кота за ухом, тот жмурился, астматически всхрипывал-мурлыкал, и из беззубой пасти его выползал симпатичный язычок, розовый и совершенный, точно лепесток.

Но с неделю назад кот исчез — закончился, видно, его земной путь. Хозяйка убивалась, всхлипывала по утрам в коридоре, и Юрий Иванович, к своему удивлению, обнаружил, что тоже огорчен, подавлен: полезли в голову дурацкие мысли о том, что все проходит, все прошло. Но он прикрикнул на себя: «Чего рассиропился? Делом занимайся!» — и сел к столу. Писать большой, главный роман. И опять почему-то не писалось. И опять Юрий Иванович, твердо решив, что завтра-то уж обязательно начнет, а пока нужно обдумать завязку, композицию, плелся к магазину, где его уж знали, покупал с каким-нибудь мужиком «Кара-еры» или «Агдам», а если по-

везет, то и «Лучистое», выпивал свою порцию и, уже повеселевший, ехал в центр, в кафе Дома работников искусств или в забегаловку «Дружба». Там его, в кожаном, белом на складках пиджаке, в вылинявших джинсах, в темных очках, тоже уже знали, и Юрий Иванович, подсев к кому-нибудь из знакомых, полужаных и вообще незнакомых, витийствовал, болтал о Фолкнере, Маркесе, «мовизме» Катаева, делился своими грандиозными замыслами, рассуждал, презрительно оттопырив мизинец, о «деревенщиках», которых пренебрежительно называл «кантри», туманно обещал закончить вскоре своего «Бескрылого Икара», тогда, дескать, увидите, что такое настоящая проза.

Над ним посмеивались, но поддакивали, покачивали понимающе головами, потому что зверел Юрий Иванович мгновенно и, хотя обрюзг, был массивен, кулаки имел внушительные. Когда в темноте собутыльники разбредались по домам, Юрий Иванович ехал к себе и, забившись в свою каморку, торопливо записывал, угрожающе бормоча, гримасничая, пришедшие в голову великие мысли — крупницы, крохи, фрагменты будущей гениальной книги. Днем он их не читал: боялся, что накатит вдохновение и придется, не отрываясь, писать нечто из середины романа, когда нет еще начала. А так не годится, непорядок это. Юрий Иванович сдвигал исписанную бумагу, брал чистый лист и минут двадцать — тридцать вымучивал план повествования, каждый раз новый, намечал героев, разрабатывал сюжетные ходы. И, довольный собой, отправлялся из дому, уверенный, что с завтрашнего дня засядет за работу.

Дни приходили и уходили; растаяли деньги, вырученные за продажу имущества, которое досталось Юрию Ивановичу после развода; неудержимо исчезали книги, любовно и долго собираемые в прежние, лучшие, времена; ворохи бумаг с набросками, медленно увеличиваясь, разрастаясь, все так же сиротливо топорщились на столе, на подоконнике, на полу и уже начали желтеть.

Но вот, когда похмелье не особенно мучило, а за окном пробуждалось такое чистенькое, такое ясное утро, что хотелось, если уж не писать стихи, то хотя бы читать их, Юрий Иванович решительно сел за работу. Самодовольно улыбаясь, он принялся разбирать свои каракули, но улыбка постепенно гасла, истаявала, превращаясь сначала в удивленный, потом в возмущенный оскал. Прочитав записи, Юрий Иванович, цепенея от стыда, ошалело уставился в угол — все, что он считал мудрыми мыслями, стенограммами озарения, был бред: манерный, тре-

скучий, глупый и безграмотный. Отупело сидел Юрий Иванович, чувствуя, как весь, до последней клеточки парализованного страхом тела, наполняется, точно промокашка чернилами, ужасом. Он не видел ни грязной комнаты, ни замызганного стола; перед глазами беззвучно и не спеша, будто в замедленной проекции, рассыпались, распадались, расползались светлые сияющие плоскости, ажурные конструкции, радужные переплетения немыслимо ярких, многоцветных узоров, стекали, оплывая, искрящиеся замысловатые фигуры, открывая нечто черное, страшное. И это черное шевелилось, росло, приближалось, окружая со всех сторон.

И вот уже повсюду — и слева, и справа, и сзади, а главное, впереди — мрак, сплошной, плотный, непроглядный мрак. Рухнуло все, ради чего жил, ради чего, ухмыляясь, сносил и насмешки, и издевки, и оскорбления; ради чего, не задумываясь, менял работы, друзей, жен, знакомых, ради чего остался одиноким, просльвив вздорным, капризным, эгоистичным, тщеславным, глупым, самоуверенным и еще черт знает каким. То, что он лелеял в себе, берег для звездного часа, то, что заставляло снисходительно и иронично посматривать на прочих людей, считать их обывателями, потребителями, бездуховными млекопитающими, то, что он считал единственно безусловным в себе, имманентным — талант, и даже гениальность, — оказалось ерундой и чушью собачьей.

«Не может быть! Не может этого быть!!» Юрий Иванович рывком подтащил к себе ящик с рукописями, выхватил наугад сколотую скрепками пачку. Либретто сценария. Прочел, морщась словно от боли: БАМ, «трудный», но в душе чистый мальчик едет на стройку, вливается в коллектив мужественных парней, предотвращает крушение поезда — откуда он там взялся? — исправляется трудом, едет на совещание передовиков, едет вместе с девушкой, которая одна верила в него. Москва, беломраморные залы, поцелуй в финале... Юрий Иванович скинул писанину на пол. Достал пухлую папку. Повесть: нефтяники — молодой специалист, пошел работать помбуром, мастер участка зазнался, думает только о плане, молодой специалист предлагает новый способ бурения... Юрий Иванович ощерился, спихнул папку со стола. Раскрыл другую. Рассказы. Полистал, выхватывая взглядом абзацы. «Новатор-консерватор... Маменькин сынок едет в Нечерноземье... Консерватор-новатор... Новый «человек со стороны»... Так, горят сроки монтажа, мужик сутками в цехе, жена уходит. Неужто не вернулась? Не может быть. Ага, вот она: «Прости меня, Коля, прости меня глупую»...

А вот и крестьяне... Комплекс. Корма. Бесперспективные деревни... личные коровы, приусадебные участки, новое отношение к торговле на рынке... А это что? А-а, ясно, «хлеб — всему голова»... Мысли-то верные, но как холодно, как расчетливо написано. Ни боли, ни свежего слова...

Полдня, с желчной ухмылкой, перечитывал Юрий Иванович свою халтуру, потом стало во все уж немого. Он тихонько поднялся и, поглядывая испуганно на кучу бумаги, завалившей стол, пол, прошел на цыпочках к кровати, осторожно присел на край ее. «Полная бездарность. Воинствующая, самовлюбленная, напыщенная бездарность», — сказал шепотом Юрий Иванович. И ему стало жутко.

В этот день Юрий Иванович напился до безобразия. Проснулся в вытрезвителе. Угрюмо выслушал торжествующего начальника, его уничижительно-радостное: «Так-так, Бодров. Все еще не работаешь? Роман пишешь? Носом на асфальте? Мы тебя научим настоящим делом, а не глупостями заниматься. Для начала — штраф десять рублей, а если к концу недели не принесешь справку о трудоустройстве, будем оформлять по двести девятой как тунеядца. Плюс шестьдесят вторая — принудление». Майор поднял окаменевшее в неприязни лицо, посмотрел безжалостно, чтобы окриком оборвать Бодрова, когда тот, как уже бывало, начнет возмущаться, объяснять что-то о сложности творческого процесса, но наткнулся на пустой, равнодушный взгляд Юрия Ивановича и удивился.

Домой Юрий Иванович вернулся решительный. Устраиваться на работу он не собирался. Идти куда-нибудь вахтером, дворником, сторожем? Для чего? Чтобы жить в этой конуре, жрать, спать, пить, а потом — годом раньше, годом позже — околеть, скорчившись на этих серых и драных простынях под этим серым и драным одеялом? Он уже решил, еще утром, когда лежал на койке в вытрезвителе, решил, твердо решил: Черное море, солнце, пляж, забитый шоколадными, бронзовыми, пахнувшими летом и загаром, отдыхающими, ласковые теплые волны и... несчастный случай — неизвестный утопленник.

Совсем не веря в чудо, но все же с робкой, хиленькой надеждой, Юрий Иванович перелистал тонкие ведомственные журналы, в которых были опубликованы его «сатирические» новеллы — о сантехнике, об официанте, о таксисте. Детектив, примитивный и жуткий, как сплетня кумушки. Просмотрел рассказы, напечатанные в газете по милости бывшего тестя, — НОТ, наставничество, АСУ, бригадный подряд, газопровод. Решимость Юрия Ивановича уехать к морю и там... крепла

с каждой прочитанной строкой. Чуда не произошло. Встретились, особенно в ранних работах, с полдюжины неплохих описаний, словно светлячки в ночи, и погасли в потоке безликих, неживых слов. И пришла успокоенность. Потому что еще вчера, садясь к столу за честный, как мыслилось, мудрый роман, Юрий Иванович, приходясь бодрым и радостным, почувствовал беспокойство, схожее с тоской — надо будет днями и ночами писать, а к чему, зачем? Тогда Юрий Иванович отогнал эту мысль, но сейчас она всплыла снова, прямая и бесхитростная, как штык: а зачем все это?

Даже если бы обнаружился, пусть не талант, а маломальские способности, Юрий Иванович понял, что написать ничего не сможет: не было желаний, не хотелось высиживать — какой уж там роман! — повестушку, которая затеряется среди сотен других и которая ничего ни в жизни вообще, ни в его, Юрия Ивановича, жизни не изменит. Давно уж забылись давние, детские, мечты о школьных хрестоматиях с отрывками из книг Ю. И. Бодрова, о портретах в учебниках, и более поздние — об интервью и статьях о своем творчестве, о заседаниях, совещаниях, на которых председательствует товарищ Бодров, о днях литературы и делегациях за рубеж, руководителем которых имеет честь быть лауреат писатель Бодров Ю. И., о каких-то личных кабинетах с полированными деревянными панелями, о квартире с камином, о личной «Волге»... Все забылось, почти забылось, осталось лишь одно — вера в свою одаренность, а значит, и то, что рано или поздно будет написана хорошая, крепкая, искренняя книга. Юрий Иванович холил, лелеял эту уверенность в своем будущем триумфе, любил мечтать о нем, потому что больше ему любить в себе было нечего, и погасни этот тускленький огонек надежды, нечем и незачем будет жить. И огонек погас.

— Финита ля комедия, — громко сказал Юрий Иванович и разозлился на себя за дешевую реплику.

Даже оставаясь один, он всегда играл какую-нибудь роль: непризнанного гения, стойка, циника, аскета, и сейчас, по инерции, изобразил нечто устало-героическо-трагическое. Эта фальшь покоробила, но Юрий Иванович, усмехнувшись, закончил тем же тоном, не выходя из образа:

— Какой великий актер умирает!

Он деловито сгреб бумагу, прижал ее к груди, точно ворох опавших листьев, покачал слегка, как бы взвешивая, и сбросил в ящик. Закончил уборку в комнате. Потом выволок из-под кровати чемодан с теми книгами, последними книгами, которые поклялся никогда не прода-

вать. Без уважения и трепета сунул в рюкзак черные томики сочинений Хемингуэя, зеленые — Есенина, сиреневые — Джека Лондона.

— Лжепророки, — бормотал Юрий Иванович, встряхивая рюкзак, чтобы книги поплотнее улеглись. — Сильные личности, путеводные звезды... Дурите теперь другому голову...

Посмотрел с сожалением на пять вишневых томиков Маяковского, которые сиротливо лежали на дне чемодана. «Зачем они-то останутся, все равно бабка отдаст кому-нибудь». Собрал и их.

— Вот так, Владим Владимыч, в этой жизни умереть не трудно, сделать жизнь значительно трудней, говорите? Согласен.

Туго, будто петлю на шее врага, затянул шнурок на рюкзаке с книгами.

Около букинистического магазина Юрий Иванович наметанным взглядом отыскал будущего покупателя. Это был модно одетый, сытый парень с тем особенным, сонным, выражением лица, какое бывает у людей убежденных, что на них закончилась эволюция, и мать-природа успокоилась, создав такую совершенную особь. «Нэпман, — оценил его Юрий Иванович. — Приемщик стеклотары или автослесарь. Нажрался, нахапал дубленок, мохера, перстней-печаток, теперь решил интерьер в своем бунгало украсить». Отозвал парня, увел его в дальний сквер и там продал книги. Маяковского покупатель взял, не задумываясь. «Мало ли кто придет, — подмигнул он, — страждеделегат, участковый мент... Пусть видят, что мы читаем». Есенину обрадовался, даже промурлыкал, неизвестно к чему: «Из какого же вы, не родного ль мне, края прилетели сюда на ночлег, журавли?» Юрий Иванович, рассвирепев, но сдержавшись, подтвердил, что это лучшие стихи поэта. Хемингуэя парень тоже купил сразу: видел его портрет у знакомых, и те много говорили про этого писателя. А вот Джека Лондона, к удивлению Юрия Ивановича, хотел забраковать. Не понравился зачитанный томик с «Мартин Иденом» и «Морским волком» — «нэпман» хотел иметь собрания сочинений хорошего товарного вида. Юрий Иванович, презирая его, заявил, что книгу эту не отдаст, а продаст кому-нибудь отдельно за цену всего Есенина, потому что и «Мартин Иден» и «Морской волк» — это катехизис, евангелие каждого сильного человека, оттого и зачитаны. Торговался Юрий Иванович зло, расчетливо и беспощадно; в итоге выцыганил за томик двадцать пять рублей.

Уплатив и штраф, и за вытрезвитель, он пришел в свою комнатку, завалился, не раздеваясь, на койку и неожиданно уснул. И увидел Джека

Лондона. Даже во сне Юрий Иванович завидовал ему, может, еще более люто, чем наяву. Но сейчас к этому чувству примешивалась еще и злоба на писателя за то, что он заставил своего Мартина Идена работать и голодать, голодать и работать, прежде, чем тот получил признание. Будто все дело в трудолюбии и лишениях — ерунда это! И Юрий Иванович тянулся к Джеку Лондону, чтобы придушить его; но вдруг, в какой-то миг, осознал, что он, Юрий Иванович, и есть Мартин Иден, но тянется не к своему автору-создателю, а втискивается в иллюминатор, обмирая от страха, что не пролезет живот. Когда, проскользнув из душной каюты наружу, он начал медленно, плавно покачиваясь, опуститься в успокаивающую ласковую воду, то обнаружил с изумлением, что стал Мармеладовым, и еще подумал, что это глупо, так как героя этого никогда не уважал, и что лучше бы уж превратиться в Раскольниковца. От сильного огорчения оказался он не в море, а на берегу. Была южная теплая ночь, внизу мерно и лениво поднималась невидимая волна, уверенно, но мягко накачиваясь она на бетон, и тогда белой лохматой гусеницей выростала под ногами седая пена гребня, приближалась с шумом, и шум этот, возникая из ничего, поднимался до гула, до резкого удара, заглушал на время чистый и экзотически звонкий стрекот цикад. Юрий Иванович, все еще оставаясь и Мартином Иденом и Мармеладовым, узнал во сне и бетон набережной, и цикад, и кипарисы, похожие на черные языки пламени, которые угадывались в сплошной тьме ночи, — так было, когда он с будущей первой, еще студенческой, женой приехал в Крым и сразу побежал на встречу с морем. Во сне Юрию Ивановичу стало легко, радостно, безмятежно, как было радостно и безмятежно в те две счастливые курортные недели, беззаботность и счастье дней которых никогда уж больше не повторялись. Он спал, улыбаясь, и не знал, что по щекам текут слезы.

От них он и проснулся. Первые секунды все еще продолжал улыбаться, но тут же вспомнил все; вскочил, вытер щеки, опухшие глаза, пригладил встопорщившуюся бороду. Чтобы не дать думам обезвоить себя, прошел деловито в коридор, на кухню. Хозяйки не было дома. Юрий Иванович стаскал к печке рукописи, публикации и сжег их...

— Да, бойкий писака я был, — повторил он, прочитав еще раз листок сочинения.

Аккуратно сложил его, сунул в задний карман брюк и задумался. Опять увидел Староновск, беспредельную площадь базара, пологий берег напротив Дурасова Сада — место, где всегда купались в детстве; школу, вычурную,

точно кирпичный торт; свой дом, красивый, будто на открытке.

— Съездить, что ли, на прощанье? — задумчиво спросил себя Юрий Иванович, и мысль эта понравилась.

Опрокинулся навзничь, подsunул ладони под голову и закрыл глаза. Не спеша шел он пацаном по улицам городка, ощущая босыми ступнями горячую пыль, которая цвиркала фонтанчиками меж пальцев, и, поворачивая за очередной угол, с радостью узнавал то замысловатый, с башенками, с арочными и полукруглыми окнами, весь в потемневших деревянных кружевах дом купца Дурасова, то затейливо выложенный из кирпича Дом культуры — бывшее купеческое собрание, то Дворец пионеров, с его ажурной чугунной решеткой и облупившимся гипсовым горнистом у входа. Воспоминания, которые смаковал Юрий Иванович, наплывали, теснились, наполнялись подробностями, четкими деталями, но все они были светлые, трогательные в своей чистоте и какой-то целомудренности.

Юрий Иванович вздохнул, достал сигарету. Но прикурить не успел.

Кто-то неуверенно постучал во входную дверь.

«Ну и бабуля, — огорчился Юрий Иванович. — Ключ забыла! А если бы я ушел?» Он с криком слез с постели, пошел, отдуваясь, в сени. Открыл дверь, зажмурился от яркого солнца, всмотрелся и остолбенел.

На крыльце стоял интеллигентный, в солидных очках, в светлом костюме, широкоплечий, как атлет, и стройный, точно грузинский танцор, Владька Борзенков — одноклассник, приятель детства, не ставший другом. Юрий Иванович сразу узнал его.

— Здравствуйте, — Владька неуверенно улыбнулся. — Мне сказали, что здесь живет Бодров... Юрий Иванович.

Тот хотел было рывкнуть, что никакой Бодров тут не живет, но передумал: чего ему прятаться, когда собрался уходить из жизни?

— Не узнал, что ли?

— Вы? — заморгал Владька и недоверчиво оглядел его сверху вниз.

— Я, я, — ворчливо подтвердил Юрий Иванович. — Только давай без этих «вы». — Отступил в сторону, пропуская гостя. — Проходи. И не удивляйся тому, что увидишь. «Праздник, который всегда с тобой», так сказать.

Владька проскользнул в сени между его животом и косяком, и Юрий Иванович провел гостя к себе. Тот изо всех старался выглядеть невозмутимым и не пораженным.

— На, подстели, — Юрий Иванович сорвал со

стола газетку, протянул ее, — а то брюки испачкаешь.

Но Владька, обиженно передернув плечами, храбро уселся на черную щелястую табуретку. Юрий Иванович усмехнулся, завалился на койку. Прикурил.

— Как ты нашел меня? — спросил без интереса. — Ведь столько лет — батюшки! — с выпускного не виделись.

— Через справочное, — приятель старательно избегал смотреть по сторонам. Сидел прямой, развернув, как солдат на параде, плечи. — Дали адрес прописки. Зашел к твоей жене.

— Мы с ней больше года не живем, — зевнул Юрий Иванович и вдруг испуганно повернул голову. — Неужто она знает, где я?

— В общих чертах. Приблизительно... А тут я прохожих поспрашивал. А-а, писатель, говорят. Ну и указали.

— Популярность, — Юрий Иванович засмеялся, закашлялся, отчего тело заколыхалось, пружины кровати застонали.

— А ты правда писатель? — Владька все-таки решил, быстро оглядел пустую, как келья монаха, комнату, задержал взгляд на столе, где ни бумажек, ни книжки, ни карандаша, ни ручки.

— Только сегодня роман закончил. Поставил последнюю точку, — Юрий Иванович, все еще всхлипывая от смеха, вытер кулаком глаза. — А ты кто? Доктор наук? Профессор?

— Ага, — равнодушно подтвердил приятель.

— Ну! — обрадовался Юрий Иванович. Сел на кровати. — Молодец. И в какой же области?

— Закончил физтех, работал в институте высоких энергий, — Владька снял очки. Сморщившись, сдал им большим и указательным пальцами переносицу. — Сейчас работаю над темой: пространство — время.

— Понимаю, понимаю. Эйнштейн, искривление пространства, е равняется эм цэ квадрат, — Юрий Иванович, раздвинув ноги, уперся ладонями в колени. Опустил голову. — Я всегда считал, что ты далеко пойдешь. Тебя еще в младших классах звали «профессором»... — он вспомнил того, давнишнего, Владьку: тоненького, сутуловатого, большелобого. Правда, никакой вундеркиндовской анемичности в нем не было, первым озорником и выдумщиком признавали будущего доктора наук пацаны.

— Не говори ерунды, — перебил приятель. — Самый способный среди нас был ты, — без лести, буднично добавил он. Надел очки. — Я жене своей все уши прожужжал про тебя. И вот видишь, прав — пи-са-тель! — Поднял указательный палец, прислушиваясь с уважением к этому слову.

— Давай не будем играть в «кукушка хвалит

петуха», — оборвал Юрий Иванович. Поплевал на окурки, швырнул его в ящик из-под рукописей. Встал, надел свой единственный, кожаный, пиджак. — Пойдем, посидим где-нибудь, поболтаем. Я тут... гонорар получил, — отвернулся, достал деньги, прикинул, можно ли рассчитывать на ресторан, чтобы и на билет в Крым хватило, или придется приглашать приятеля в пивнушку. — В моей берлоге свежеему человеку тужко, — покосился на гостя, поджал обиженно губы. — Чего рассматриваешь? Изменился?

Владька добродушно глядел на него. Пошевелил неопределенно пальцами в воздухе.

— Есть маленько: живот, лысина, борода. И вообще...

— Зато ты, вижу, спортсмен-олимпиец. Здоровый дух в здоровом теле, — беззлобно проворчал Юрий Иванович.

— Держу форму: гимнастика, бассейн, лыжи... — начал было не без гордости гость, но хозяин насмешливо фыркнул.

— Образцово-показательный, значит? Ну, — он язвительно глянул на приятеля, заметил, что тот обиделся. Улыбнулся виновато, с деланной скорбью. — А я вот, как видишь, подизночился. Почки пошаливают, печень барахлит, мотор вразнос пошел... Потопали? — Сунул деньги в карман: Владька, вроде, не кутила, не выпивоха, значит, можно обойтись бутылочкой в кафе. — Обмоем где-нибудь встречу.

— Обмоем, конечно. Но в другой раз. Извини, я на машине, — приятель развел руки и вдруг, радостно хлопнув в ладоши, вскрикнул: — Слушай, есть отличная идея! Ты действительно не занят, действительно закончил работу, действительно сейчас свободен?

— Как горный орел, — Юрий Иванович потянулся, выкинул в стороны крепко сжатые кулаки. — Наконец-то отдохну от такой жизни! — Задрал бороду к потолку, зажмурился. — Сегодня или завтра уезжаю к морю.

— Может, подождешь с морем? — весело попросил приятель. — Отложи, а? Хочешь, через неделю вместе махнем, я отпуск возьму. А сейчас давай отправимся-ка в Староновск.

— В Староновск? — Юрий Иванович приоткрыл один глаз, медленно опустил руки. — С чего бы вдруг?

— Да не вдруг, не вдруг, — торопливо принялся объяснять Владька. — Я там часто бываю. У нас в Староновске база — не база, нечто вроде лаборатории. Аномалия в нашем городишке оказалась уникальная... Ну, это сложно и долго объяснять. Говори — едешь?

— Вообще-то заманчиво, — неуверенно заулыбался Юрий Иванович. Тоска, сжимавшая два

дня сердце, поослабла с приходом одноклассника, а после приглашения на родину и вовсе, кажется, исчезла.— А что? Можно,— он задумчиво смотрел в окно.— Время для меня цены теперь не имеет. Неделей раньше — неделей позже...

— Вот и отлично! — Владька сорвался с табуретки, запетлял по комнате.— Ты после школы хоть раз был в Староновске?.. Вот видишь. Это же свинство! — Он с силой опустил на кровать, подскочил разок-другой на пружинах.— Я еще вчера хотел уехать, но вдруг, не знаю, с чего, вспомнил тебя. И так мне паршиво стало, не поверишь. Да что же это такое, думаю, в детстве чуть ли не друзьями были, живем в одном городе и не видимся... Да не бери ты ничего,— взмолился, увидев, что Юрий Иванович сдернул с гвоздя серое вафельное полотенце,— у меня все есть!

Юрий Иванович с сомнением рассматривал полотенце. Скомкал его, швырнул в угол.

Подошел к столу, отыскал в ящике клочок бумаги. Не слушая одноклассника, написал, сосредоточенно сдвинув брови: «Ольга Никитична! Я уехал. Спасибо Вам за все. Оставляю плату за комнату. И еще немного. Может, хватит, пока жильца найдете. Вещами моими (пальто, шапка, свитер и пр.) распоряжайтесь, как хотите. Не поминайте лихом, простите, если что было не так. Юр. Ив.». Задумавшись, нарисовал жирную точку. Очнулся, вынул деньги. Отсчитал три десятки. Поразмышлял. Добавил еще одну и положил их под записку.

— Так, кажется, все.

Владька бодро вскочил, одернул пиджак, повел плечами.

— Идем,— Юрий Иванович подтолкнул его в спину.

Вышел вслед за гостем. Но в дверях, зная, что все кончено, что впереди — Черное море, что возврата нет, еще раз оглянулся и увидел вдруг комнату свежими глазами, глазами человека, не замороженного бреднями, глазами Владьки, например, и поразился, похолодел от стыда за нищету и убожество своего жилья, покраснел от вида грязи, пыли, запущенности этой ночлежки, в которой хозяйка первые дни пыталась находить порядок, но была напугана резким заявлением жильца не вмешиваться в его дела, и отступилась. Лицо Юрия Ивановича болезненно сморщилось, отчего, мясистое, опухшее, стало плаксивым.

— Ну и хлев,— прошептал Юрий Иванович и, неожиданно для себя, плюнул в сторону письменного стола.

Развернулся, быстро вышел из дома.

На крыльце он с вызовом взглянул на приятеля, ожидая найти на лице профессора сочувствие, сострадание, но тот улыбался безмятежно и счастливо, не было ни самодовольства, ни жалости к неудачнику. Юрий Иванович запер дверь и, подбрасывая ключ на ладони, спустился по ступенькам. Владька, опережая, шмыгнул мимо, зашагал молодцевато к калитке, сквозь редкие корявые колья которой синели «Жигули». Юрий Иванович остановился, обернулся, обвел цепким прощальным взглядом огород с правильными рядами невысокой сочно-зеленой ботвы, избушку, тяжело и кособоко присевшую на угол. Посмотрел на маленькое черное окно своей комнаты и, широко размахнувшись, запустил ключ в заросли малины, приютившейся около забора.

2.

— Завидую все-таки вам, литераторам, художникам,— без всякой зависти сказал Владька.— Мы, простые смертные, проживаем одну жизнь, вы — десятки. Мы вскрываем в природе уже существующее, имеющееся как факт, как данность, вы создаете новое и оригинальное. Не открой Ньютон закон тяготения, его открыл бы кто-нибудь другой, тот же Гук, не выведи Эйнштейн теорию относительности, ее вывел бы со временем ну хотя бы Фридман или кто-то еще. А не напиши ты, Бодров, роман, его никто не напишет. Вот в чем вся штука. Напишут хуже или лучше, но не этот. Твоего, бодровского, никогда не будет, и это самое поразительное. В вас, писателях, целый мир, неисследованный, непознанный, пока вы сами не захотите его показать...

«Повело физика-теоретика», — подавил вздох Юрий Иванович, и ему стало скучно: надоели банальности, которые Владька изрекал с видом первооткрывателя. А может, они для него были действительно откровением, но ему-то, Юрию Ивановичу, и собственная болтовня о творчестве, которой он пичкал собутыльников, ох как надоела.

Оживленный, радостный Владька не закрывал рта с той самой минуты, как бывший соученик сел в машину. Сейчас уже и сумерки незаметно подкрались, неуловимо, но уверенно переходя в ночь, а бодряк-профессор все говорил и говорил. Сначала он домогался, чтобы Юрий Иванович дал почитать что-нибудь свое, тот шевельнулся, буркнул, что обязательно, мол, как только выйдет роман, так как это главная книга, а все остальное — ерунда, мелочь, подход к теме, и, чтобы уйти от разговора, хотел было

спросить Владьку о его работе, но испугался, что товарищ Борзенков влезет в такие дебри релятивизма, в которых он, Юрий Иванович, уснет, как муха в хлороформе. Поэтому поинтересовался, вполне искренне, впрочем, что известно о судьбе одноклассников. Владька встрепенулся и поведал с подробностями почти обо всех: тот стал слесарем, этот врачом, та домохозяйкой, эта учительницей. Оказалось, что Лидка Матофонова — «которая, помнишь, влюблена была в тебя?» — закончила сельхозтехникум, работает агрономом, нарожала около десятка детей, располнела; Витька Лазарев разбился на мотоцикле; Ленька Шеломов стал металлургом, в газетах о нем пишут; Генка Сазонов — «на одной парте с тобой сидел» — в горисполкоме, заведует коммунальным хозяйством, стал важный, неприступный; Лариска Божицкая — «правда, она не из нашего класса», — тут Владька кашлянул, посмотрел искоса на приятеля, заведует магазином, сменила двух или трех мужей, постарела, но все еще симпатичная и на жизнь, кажется, не жалуется... Из прежних учителей никого в школе не осталось, кроме Саида, физрука. Большинство на пенсии, кое-кто уехал, а Синус — «математик, помнишь?» — умер года три назад то ли от инфаркта, то ли от инсульта: пришел в учительскую и умер...

— Самое же удивительное, — продолжал изрекать Владька, откидывая назад голову, чтобы размять затекшую шею, — это разница в реакции после того, как достигнут результат. Мы, техники, физики, счастливы, мы испытываем страшный подъем сил, а вы — я читал о психологии творчества — опустошены, выпотрошены. И это естественно. Ведь ваши выдуманные герои были для вас живыми людьми. Их беды, радости, огорчения были вашими бедами, радостями, огорчениями; вы умирали и воскресали вместе с персонажами. Но вот поставлена последняя точка. Все! Ваши фантомы ушли, и с ними ушла часть жизни. И стало пусто, одиноко, верно? Ты испытал это, когда закончил роман?

Юрий Иванович, думая о другом, медленно кивнул. Он, не мигая, глядел на жидкое пятно света, которое, не удаляясь, скользило, переливалось на черном, слившемся с чернотой вечера, асфальте, а видел Генку Сазонова, единственного своего школьного друга, худощавого, кадыкастого парнишку с пшеничным казачьим чубом, и не мог представить его солидным исполкомовцем; не мог представить обабившейся Лидку Матофонову, веснушчатую, тонкошеюю, с наивными, всегда вытарашенными зелеными глазами; не мог представить за прилавком Лариску Божицкую и усмехнулся, вспомнив, каким

неуклюжим, косноязычным, тупым становился когда-то рядом с ней. А вот разбитного Витьку Лазарева, аккордеониста и двоечника, взрослым представил легко, но тут же вздохнул: вспомнил, что тот погиб. И сразу же, как подумал о смерти, увидел учителя математики — жилистого, высокого, с красивым нервным лицом; вспомнил, как вместе играли в баскетбол и волейбол и как мгновенно вспыхивала улыбка на лице Синуса при удачном броске или ударе, как болезненно морщился он, чуть ли не стонал, при промахе.

— Хорошо умер Синус, — громко сказал Юрий Иванович. — Мне бы такую смерть.

Владька оборвал свои рассуждения о какой-то экстраполяции образа из будущего в настоящее. Коротко и удивленно глянул на пассажира.

— Ты случайно не декадент? — засмеялся натянута. — Нашел о чем думать.

— А ты разве об этом не думал? — резко спросил Юрий Иванович.

— О смерти-то? Нет, не думал, — беззаботно ответил Владька, но сразу торопливо поправился: — Раньше иногда приходили всякие мысли в голову, а сейчас — нет. Некогда об этом думать... Мы люди сухие, рацию, так сказать. Расчеты, формулы, опыты, опыты, формулы, расчеты. Нам не до этих душевных сложностей, не до гамлетовских «быть или не быть», — тон у него был насмешливый, нарочито шутовской. Юрий Иванович поморщился, и Владька заметил это. Помолчал, добавил серьезно: — Иногда, конечно, навалются неприятности, неудачи. Бьешься, бьешься и — тупик. Хоть в петлю лезь, но, — и снова засмеялся, — не лезем. Потому что минусы жизни, неудачи неизбежны. Заложены изначально в самую оптимальную модель бытия человека, чтобы были борьба и преодоление, а значит, и развитие, движение вперед. Вот почему негативное, отрицательное, на мой взгляд, запрограммировано уже генетически...

— Вот как! — удивился Юрий Иванович. Развернулся боком. — Лихая теория. Неудачи, значит, запрограммированы, — он угрожающе зашел. — А удачи? Удачи запрограммированы? Или их надо подстеречь и хватать за шкуру? — И, словно цапнув что-то в воздухе, сжал пальцы, сунул руку под нос приятелю.

— Не понимаю, — Владька отвел голову от огромного волосатого кулака.

— Не понима-аешь, — презрительно протянул Юрий Иванович. Откинулся на сиденье, закрыл глаза. — Что один — неудачник, другой — счастливчик — это тоже запрограммировано, заложено с младых ногтей? Вот ты, к примеру, доктор наук, профессор, а Лариска — продавщица, Ген-

ка — чиновник. Это как же, а? — приоткрыл глаз, посмотрел пылливо.

Владька обиделся было, нахохлился. Поднял недоуменно плечи и застыл в такой позе.

— Не знаю, не думал об этом, — вяло начал он. — Наверно, каждый выбирал то, что ему нравилось, чего душа требовала, — и оживился: — Конечно, так оно и есть. Лариске хотелось быть первой красавицей, она любила тряпки, побрякушки. Генка — вечный активист — то звеньевой, то председатель совета отряда, то еще какой-то общественный начальник. С чего ты взял, что они неудачники? Может, им ничего другого и не надо, может, они довольны и собой, и жизнью. Ведь ты-то живешь... — помялся, подбирая слово, — спартански, как Диоген в бочке, и счастлив. Не захочешь, я думаю, ни с Генкой, ни со мной местами поменяться? — он обрадовался, что так удачно ответил, посмотрел торжествующе на пассажира.

— Я?! — Юрий Иванович засмеялся и опять закашлялся, захрипел. Сплюнул в окно. — Много ты обо мне знаешь... — Вытер глаза ладонью. Сказал мрачно: — Платон предлагал всех художников гнать к чертям собачьим из городов-полисов. Неважно почему и за что, не в этом суть, главное — гнать... Проклинаю тот день, когда мне пришла в голову идиотская мысль, что я писатель.

Отвернулся к окну, всматриваясь в густую ночь, в которой иногда проплывали, словно ворочаясь, какие-то черные тени на обочине.

— Ты устал, — неуверенно решил Владька. — Ты написал большой роман, выдохся, и все тебе кажется в мрачном свете. Я же говорил про психологию творчества...

— Пошел ты со своей психологией, — лениво огрызнулся Юрий Иванович. — Нет никакой психологии, никакого творчества, — он нервно, мучительно зевнул. Пробубнил, прикрыв рот рукой: — И романа никакого нет... Ты на дорогу смотри, не на меня, — прикрикнул, когда Владька медленно повернул к нему вытянувшееся лицо.

Машина резко сбавила скорость, вильнула к краю шоссе и остановилась.

— Надо отдохнуть, — Владька потряс кистями рук. На приятеля старался не смотреть. — Почему ты считаешь, что роман у тебя не получился?

— Потому что я его и не писал, — снова, на этот раз притворно, зевнул Юрий Иванович. Отстегнул ремень безопасности, открыл дверцу. Высунулся наполовину, но опять втянул голову в машину. Пояснил, посмеиваясь: — Знаешь, кто я?.. Клим Самгин, только порядка на три пониже. Понял? — и выбрался наружу.

Потер поясницу, покрутил головой, присел, вытянув руки.

Владька тоже вылез из машины, обогнул ее, остановился рядом.

— И что же ты собираешься делать? — спросил потерянно.

— А ничего, — Юрий Иванович, тяжело отдуваясь, выпрямился. — Поеду к морю и там... там видно будет. — Достал сигарету, закурил, но, затянувшись два раза, бросил ее. Растоптал. Сказал с кривой усмешечкой: — Эх, встретиться мне сейчас я сам, семнадцатилетний, все бы уши себе оборвал: не выпендривайся, не воображай, будь проще!

Свет приближающихся фар все резче и резче выделял из темноты белое, с остановившимися глазами, лицо Владьки. Сверкнули очки; тени носа, глазниц ползли стремительно, и казалось, что профессор гримасничает; на секунду лицо стало плоским, как маска, и тут же нырнуло в ночь — грузовик промчался. И опять начало выплывать, точно на фотобумаге в проявителе, когда, в нарастающем реве, показалась другая машина. И опять исчезло.

— Ты думаешь, это что-нибудь изменило бы? — спросил из темноты Владька.

— А как же, — Юрий Иванович снова закурил. Лениво, скучающим голосом принялся фантазировать. — Представь меня семнадцатилетним, но с нынешним жизненным опытом, с моими взглядами и так далее. Нет, давай по-другому. Представь, что я, семнадцатилетний, знал бы, что меня ждет. Разве я повторил бы свои ошибки, заблуждения? Да никогда! — замахал энергично рукой, отчего красный огонек сигареты затеплялся, словно зачеркивая, затушевывая что-то.

— Ладно, поехали, — сухо приказал Владька. — Скоро Староновск.

— Поехали, — согласился Юрий Иванович. Выщелкнул сигарету на середину шоссе. Посмотрел, как она затухает, точно немигающий красный глаз прикрывался сонно, и забрался в машину.

— Ну, а что бы ты стал делать, окажись семнадцатилетним, но с нынешним жизненным опытом? — не повернув головы, поинтересовался Владька.

Он сидел за рулем прямой, строгий, и слабый ответ приборного щитка делал его лицо жестко-чеканным.

— Не знаю, — Юрий Иванович пыхтел, застегивая ремень. — Я ведь в школе порядочной дрянью был. Постарался бы вести себя по-другому, — щелкнул замком. — Ну, приковался, наконец. Трогай, профессор.

— Не замечал, чтобы ты был дрянью, —



Владька, поглядывая в зеркальце заднего обзора, вывел машину на шоссе.— Наоборот, считал тебя...

— Считал, считал. Все считали,— ворчливо оборвал Юрий Иванович. Устроился поудобнее.— А ты никогда не задумывался, почему мы с тобой не были друзьями?— Прислушался, но приятель пробурчал что-то невнятное.— Поясню. Я завидовал тебе, твоим способностям. Боялся тебя, боялся, что рядом с тобой окажусь в тени.

— Это ты-то?! Ну уж...

— Я, я,— деловито заверил Юрий Иванович.— И не только завидовал, но еще и гадил тебе. Вспомни историю с Цыпой и его кодлой. Без меня не обошлось. А комсомольское собрание, когда тебя чуть не исключили? Как я тогда изгалялся...

Машина дернулась в сторону, свет фар широко, слева направо, полоснул по асфальту.

Юрий Иванович повел глазами в сторону водителя, придавил вздох. Уткнул бороду в жирную грудь, сцепил на животе руки, прикрыл глаза: вспомнил то, давнее, комсомольское собрание.

В конце урока зоологии Владька спросил у учительницы: почему у кошки рождается кошка, а не щенок, допустим, и как получается, что из маленького семени вырастает, предположим,

слон — что же, в этом самом семени заложены, что ли, все данные о будущем слоне, и если да, то как они тогда там выглядяют? Юрка Бодров насторожился, как охотничий пес, почувшавший дичь. Учительница, молодая и застенчивая, краснела, бледнела, усмотрев в вопросе Владьки нездоровый интерес к половой жизни, и, не зная, что ответить, предложила с натянутой улыбкой классу: «Ну, кто хочет объяснить Борзенкову столь очевидные истины?» Столь очевидные истины захотел объяснить, выметнувшись из-за парты, отличник Бодров. Он язвительно и безжалостно обвинил Борзенкова в витализме, вейсманизме-морганизме, заявил, что Владислав склонен, видимо, к идеализму, допускает, судя по всему, существование души, если предполагает, что... Закончить обличение не дал звонок.

Класс зашумел, загалдел: никому ни до наследственности, ни до души не было никакого дела.

Юрка, предчувствуя будущее свое торжество, перехватил учительницу у двери и настоял, чтобы на следующем уроке ему разрешили продолжить выступление. Хорошо, если бы и Борзенков подготовился, почетче изложил бы свои мысли: пусть будет нечто вроде диспута. Юная учительница, еще не забывшая институтские лекции о работе с детьми, восторженно закивала:

«Да, да, диспут это хорошо, это свежо, это не формально... Ты согласен, Владик?»

Через три дня в класс нагрянули директор, завуч Синус, ботаничка, анатомичка, и Владьку вызвали к доске. Начал он уныло, казенно, лишь бы отделаться, но потом, словно размышляя вслух, стал сам себе задавать вопросы и оживился. Заявил, что в семени должна быть заложена какая-то информация о наследуемых признаках, раз вид сохраняется исторически и каждая особь повторяет устойчивые характеристики родителей; скорей всего, информация эта заложена в молекулах, сцепленных определенным образом, и если точно так же сцепить в лаборатории те же молекулы, то можно и в колбе вывести любое существо, вплоть до человека, а значит, не так глупы были алхимики со своей идеей гомункулуса. Тут Владька почувствовал, что заговорился, испугался и с отчаяния обрушился зачем-то на Мичурину, намекнув, что он чудак и самоучка, который слепо тыкался, не понимая, что делает и что получится, так как нет научной теории наследственности. Учителя за столом оцепенели с окаменевшими лицами, лишь Синус ерзал, поглядывая оживленно то на выступающего, то в класс, да анатомичка поинтересовалась ехидно: «А как же Дарвин? Он что же, не авторитет для тебя?» Владька угас, сник, но все же осмелился промямлить, что Дарвин, конечно, великий ученый, но он только указал на естественный отбор, а как это происходит на зародышевом уровне, не объяснил. И сел на место.

Оппонент Бодров бойко вышел к доске. Популярно изложил основы материалистической, мичуринской — тут он многозначительно посмотрел на Борзенкова — биологии, охарактеризовал вейсманизм-морганизм, вскрыл его реакционную сущность и подошел к выводу, что Владислав Борзенков стихийный последователь Менделя — недаром оппонент Бодров два вечера подряд изучал «Краткий философский словарь», — если оспаривает материалистическое объяснение наследственности. Хотя, честно говоря, оппонент Бодров шибко сомневался в своих обвинениях: ведь Владька говорил о молекулах, а что может быть материальней? Мало того, возмущенно объявил классу, а в особенности учителям, четырнадцатилетний начетчик, Борзенков-де считает кибернетику не буржуазной лженаукой, а делом интересным; он же, Борзенков, говорил как-то, что Вселенная когда-то была сосредоточена в точке, а после некоего взрыва стала расширяться. «Кто же устроил этот взрыв? Бог, что ли? — гневно вопрошал Юрка. — Что же получается, Вселенная имеет начало, предел, а зна-

чит, конечно в пространстве и времени?» И предложил урок прервать, а сейчас же открыть комсомольское собрание, чтобы обсудить взгляды Борзенкова.

Соученикам надоел спор двух отличников, в котором никто ничего не понял; класс привычно шушукался, хихикал, шлестел бумажками, а тут мгновенно притих, словно его прихлопнули огромной ладонью. Директор предложение принял и серьезно оглядел всех... На суровые расспросы комсомольца Бодрова комсомолец Борзенков совсем уж еле слышно пояснил, что о кибернетике и Вселенной читал материалы — «правда, дискуссионные» — в журналах «Знание — сила» и «Наука и жизнь», были еще статьи в «Комсомольской правде». «Комсомольская правда» да Синус, который, выступив, назвал ученика Борзенкова умным, ищущим мальчиком с неординарным аналитическим мышлением, с поразительной для такого возраста эрудицией и любовью к знаниям, спасли Владьку. Ему хотели объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку, почему-то с формулировкой «за мелкобуржуазный индивидуализм и космополитизм», но ограничились выговором...

— Извини меня за то собрание, — отирая лицо, будто снимая с него паутину, попросил Юрий Иванович. — Хоть и поздновато, но... Лучше поздно, чем никогда, верно?

— Лучше никогда, чем поздно, — желчно ответил Владька и, устыдившись тона, добавил примирительно: — Чего теперь вспоминать... — Откинулся, уперевшись руками в руль, и выдохнул радостно: — Ну вот! Считаю, приехали.

Машина, долго взбегавшая на затяжной уклон, одолела, наконец, его, и Юрий Иванович увидел внизу, в темноте, огромное черное пятно, искрапленное светлыми прямоугольничками окон, прошитое и перечеркнутое пунктирами сверкающих точек. «Жигули» нырнули вниз, покатали по длинному пологому спуску; огоньки города поползли вверх, потом исчезли, заслоненные чем-то большим, бесформенным. «Дурасов Сад», — догадался Юрий Иванович. Он занервничал, зашевелился, пригнулся к стеклу. Машина прошуршала по бетонному мосту, которого раньше не было — блеснула внизу на удивление узкая, точно ручеек, речка детства, — и «Жигули» вывернули на залитую светом фонарей площадь. Юрий Иванович увидел огромное белокаменное, со стеклянными стенами, здание — по фронтому его зеленела неоновая надпись: «Кинотеатр «Космос»; гранитного солдата, скорбно склонившего голову у вечного огня; воздушный и легкий павильон с алой буквой «А».

— Остановить? — спросил Владька.

— Не надо,— Юрий Иванович выпрямился. Это был не его Староновск.— Посмотрю завтра,— и заметил обиженно:— Ничего не узнаю.

— Я хотел предупредить тебя, но не решался...— Владька смущенно откашлялся.— Вашего дома тоже нет.

— Зря не сказал. Я бы не поехал,— Юрий Иванович пожевал губами, поинтересовался брюзгливо:— Чем же он помещал?

— Там построили учебный центр: филиал сельхозинститута, техникум механизации, медучилище и прочее. Ну и нашей лаборатории место отвели.

— Понятно. Больше нигде построить было нельзя.

Юрий Иванович без интереса смотрел на пронесившиеся мимо старые, нетронутые здания улицы Ленина; узнал изощренно-причудливый кирпичный Дом культуры; увидел Дворец пионеров с его вычурной чугунной решеткой и все с тем же облупившимся горнистом за ней, но остался равнодушным. Машина свернула в переулок, повернула еще раз и оказалась на улице его, Юрия Ивановича, детства. Промелькнул тяжелый, еще дореволюционной постройки амбар— раньше здесь была пимокатная артель имени Седова, проехали особняк купца Дурасова: с башенками, мансардами, резными флюгерами, кокошниками над окнами, и Юрий Иванович резко повернул голову налево— сейчас будет квартал, где стоял дом матери. И увидел вольготно разбросанные параллелепипеды и призмы построек стандартно-панельной архитектуры, меж которыми зеленели в свете фонарей лужайки, газоны, куртины.

Владька подрулил к символическим— две бетонные стелы— воротам, попетлял по асфальтовым дорожкам и остановил машину перед приземистым кубическим зданием с ажурной чашей антенны наверху.

— Узнаешь место?— он выключил двигатель, дернул рукоятку тормоза.— Именно здесь вы когда-то жили.

— Обрадовал!— раздраженно проворчал Юрий Иванович осевшим голосом. Отстегнул ремень, выбрался наружу.

Осмотрелся. Прочитал сверкающую— золотом по черному— табличку: «Староновская лаборатория института физики полей АН СССР».

— Солидная контора,— хмыкнул неуважительно.— И ради нее сломали наш дом?

— Нет, почему же. Мы ни при чем. Когда тут стали все сносить, я настоял, чтобы нам выделили непременно этот участок,— Владька с деловитой заботливостью поглядел по сторонам.

— Безграмотно написано,— с удовольствием

заметил Юрий Иванович.— Что имеется в виду, сельхозполей академии наук? Почему тогда не физика лугов? Или пашен, например?

— Ага,— рассеянно согласился приятель.— А помнишь, у вас здесь цветы росли?— показал на асфальтовую площадку, где остановились «Жигули».— Пахли по вечерам— с ума сойти можно. Я своему завхозу все время говорю, чтобы посадил. Не слушается, фыркает... А на этом месте у вас сарай был, летом ты в нем спал,— повел рукой в сторону светлого длинного здания, состоящего, казалось, из сплошных окон.— Сейчас тут сотрудники живут, а мы в том сарае когда-то однажды всю ночь в «дурачка» проиграли. Помнишь?

Юрий Иванович не помнил этого.

— М-да,— он глубоко всунул руки в карманы пиджака, повернулся на каблуках.— Все чужое. Все... Школа-то хоть цела?

— Цела,— Владька тронул его за плечо.— Пойдем. Надо выспаться. У меня в семь эксперимент.

— Ты ступай, а я попозже,— Юрий Иванович достал сигареты, закурил. Присел на спинку скамейки, сделанной из половины расколотого вдоль бревна.— Только покажи, в какое окно постучать. Или у вас там дежурят?— выпустил струйку дыма в сторону жилого корпуса.

— Тогда и я не пойду. С тобой останусь,— Владька тоже всунул руки в карманы, сел на скамейку, вытянул ноги.

— Это еще зачем?— вяло и снисходительно поинтересовался Юрий Иванович.— Я— понятно. Приехал на родное пепелище, хочу поразмышлять, повспоминать. Может, я сентиментальный,— он усмехнулся.— Вот докурю, пойду шляться по городу, слезы из себя выжимать.

— А я не пуцую,— серьезно ответил Владька.— Или с тобой пойду.

— Не выдумывай. Спать я не хочу, а тебе надо. Эксперимент-то важный?

— Важный.

— Вот видишь. Иди отдыхай,— Юрий Иванович встал, бросил окурочек в урну, направился было прочь, но Владька вскочил, вцепился ему в рукав.

— Да что с тобой?— возмущился Юрий Иванович и расвирепел.— Я один побыть хочу. Понял? Один! Неужели ты такой бестолковый?!

— Хорошо. Будь по-твоему,— приятель нехотя разжал пальцы.— Но дай слово, что ты без меня не поедешь... к морю.

— Однако манеры у вас, профессоров,— покрутил головой Юрий Иванович.— Никогда, никому, никаких слов не давал и не собираюсь!

— Что ж... В таком случае, прошу только об

одном: вернись, пожалуйста, к семи,— взгляд профессора стал требовательным.

— А как я узнаю время? — Юрий Иванович, слегка сдвинув рукав к локтю, насмешливо сунул руку под нос приятелю.

— Возьми,— тот снял свои часы, быстро защелкнул металлический браслет на запястье Юрия Ивановича. Точно наручники клацнули.— Обязательно вернись до семи. По многим причинам эксперимент можно провести только в это время, поэтому отменить его никак нельзя.

— Ну-у, меня ваши физические проблемы не волнуют,— Юрий Иванович подчеркнуто пренебрежительно поморщился, опять сунул руки в карманы, качнулся с пяток на носки.

— Зато меня волнуют,— сухо и деловито отрезал Владька.— Очень волнуют. Поэтому не подведи, будь другом. Времени, чтобы повспоминать, у тебя достаточно.

— Ладно, договорились. Спи спокойно,— Юрий Иванович не спеша, вразвалку отошел. Обернулся, взмахнул бодренько рукой.— Удачной аннигиляции, профессор!

Владька переполошился, даже ладошкой слабо, как от нечистой силы, отмахнулся.

— Покарай еще! — выкрикнул возмущенно.— Ты хоть знаешь, что это такое?!

Юрий Иванович захохотал и свернул за угол лаборатории. Часы и браслет прохладным тяжелым ободком давили на кисть руки; Юрий Иванович машинально глянул на циферблат; не вдумываясь, который час, понаблюдал, как выскакивают секунды на электронном табло. «Надо будет вернуться вовремя. Очень уж дорогой товарищ Борзенков просит». Не хотелось уходить из жизни с сознанием, что подвел последнего приятеля.

Юрий Иванович с мучительной остротой понял, как непоправимо одинок, поэтому неприятно было думать, что Владька хоть и помянет когда-нибудь, при случае, Бодрова, не нарушая традиций, добрым словом, но про себя добавит, что подложил ему свинью этот самый Бодров в день ответственного эксперимента. «Хотя, зачем я ему?» Юрий Иванович решил было пригрустить, представив, как поедет в Крым, чтобы холить и лелеять мысли о своем скором конце, но вызвать нужный настрой не удалось — в груди уже сладко ныло, уже складывались в улыбку губы, потому что десять лет то вприпрыжку, то понуро, то важно ходил Юрка, потом Юрий Бодров этой дорогой в школу.

Обогнув длинный барак, в котором прежде был детский сад, Юрий Иванович почувствовал, что улыбка стала еще шире — увидел школьный стадион: так же белели стойки футбольных во-

рот, на том же месте была яма для прыжков и высокая П-образная конструкция, на которой висели канаты, гимнастические кольца, шест. Но около школы Юрий Иванович чуть не сплюнул, увидев приземистый крупнопанельный пристрой. Однако тут же успокоился и даже немного позабавился нынешним ученикам — догадался, что перед ним спортзал. Хороший, судя по всему. А им-то, школьникам прошлого, приходилось заниматься в бывшем актовом зале гимназии. Правда, грех жаловаться, довольны были, даже в волейбол и баскетбол там играли.

— Ах ты, старенькая альма-матер,— Юрий Иванович потрогал шершавые, пористые кирпичики школы.

Обошел здание кругом, отыскал взглядом место, где угадывались окна его класса, крайние справа на втором этаже. Закурил, сел на прохладный мрамор парадного крыльца, прислушался к тишине и, подняв голову, засмотрелся на высокий, словно отлитый из густо-синего стекла, свод неба. На его фоне ровно и чисто светились объемные, если присмотреться, крупинки звезд в немыслимом отдалении, а за ними чувствовалась, подозревалась вовсе уж невообразимая даль.

— Две вещи наполняют меня все большим удивлением: это звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас,— поэтически-манерно взметнув руку, продекламировал, слегка подвывая, Юрий Иванович и вспомнил, как поразился, впервые услышав эти слова.

В ту осень школьников впервые послали в колхоз. До этого учеников никогда ни на какие уборочные не направляли, и что они будут делать в деревне — не знал никто, в том числе и сельское начальство, поэтому оно ахнуло, крикнуло, когда из города прикатили два грузовика с ребятами, поэтому же восьмой «Б», потолкавшись часа полтора возле правления, снова погрузился в трехтонный «ЗИС» и очутился в степи, такой белой от ковыля, что казалось, будто на землю опустились усталые перистые облака.

Под вечер одеревеневший и онемевший от тряски восьмой «Б» прибыл к трем полуразвалившимся кошарам и, постанывая, сполз на землю около крохотной черной избенки. Никто их здесь, конечно, не ждал. Пастухи с отарами были где-то на дальнем пастбище. Хозяйка избушки, морщинистая и коричневая, будто копченая, потерялась, раскричалась: зачем нагнали сюда мелюзги-дармоедов?! «Чистить, ремонтировать кошары», — начал объяснять Синус, но женщина замахала руками и рассердилась не на шутку. Потом немного поостыла, но ворчать не перестала. Ворча, развела костер, ворча, вскипятила

чай в огромном казане, ворча, выкинула несколько кисло пахнущих кошм, какие-то липкие на ощупь стеганные одеяла, ворча, пустила девчонок ночевать в помещение. Парни, расхватав постели, уползли за избушку в темноту, подальше от учителя, и сразу же оттуда послышались шепот, возня, хихиканье, довольное гоготание. А Владька, Юрка Бодров, Синус остались у костра, и Юрка, опрокинувшись спиной на кошму, увидел вдруг небо — необъятное, безмерное, бездонное, увидел крупные звезды, похожие на раскатывшиеся шарики ртути, увидел и великую бесчисленность мелких, сливающихся в полосы смазанных пятен, напоминающих белую наждачную пыль. От притаившегося в темноте ручья тянуло сырой прохладой; слабо пахло дымком, овцами, конями, какими-то горьковатыми и пыльными травами, гуннами, скифами; мерно и печально звала кого-то вдаль неведомая ночная птица; что-то шуршало, шелестело, попискивало во круг — а надо всем этим черное небо, надо всем этим — звезды, гипнотизирующие, равнодушные, чужие. И, словно погружаясь в убаюкивающие волны, Юрка почувствовал себя одновременно и ничтожным, крохотной частицей живого в этой бесконечной, беспредельной ночи, и великим — он ощутил грандиозность мира, в холодной пустоте которого вековечно плывет маленькая Земля, и словно бы увидел ее со стороны — сверкающие льды Арктики и Антарктики, ярко-желтые пустыни, густо-зеленые джунгли, голубые реки, синие моря, океаны, серокаменные города с их небоскребами, дворцами, трущобами; увидел умопомрачительное множество людей: черных, белых, желтых, молодых и старых, мужчин и женщин, детей, пастухов, охотников, нищих, капиталистов, ученых, отдыхающих бездельников, шахтеров, крестьян, матросов, которые сейчас работают, спят, ссорятся, смеются, болеют, и горделиво подумал, что, вот, есть среди них и он — Юрий Бодров, — единственная реальность, потому что все иное где-то там, далеко, оно бесплотно, тенеподобно, — и есть ли вообще? — а он, Юрка, материальный, осязаемый, может даже себя ущипнуть, он способен представить себе любые края, картины, сцены, может, как только что, удалившись в воображении, увидеть издалека крохотную Землю, может, оказавшись еще дальше, совсем не увидеть ее, затерявшуюся среди мириадом других точек на небе, и, значит, в нем, Бодрове, сосредоточено все — исчезнет он, все исчезнет.

Синус улегся рядом и вот тут-то, разглядывая небо, сказал задумчиво, что две вещи наполняют его все большим удивлением: это звездное небо над нами и нравственный закон внутри

нас. Юрка не знал, что такое «нравственный закон», но спросить не решился, побоялся выглядеть глупым, поэтому лишь мудро и многозначительно вздохнул, чтобы было ясно: о да, да, он, Бодров, полностью согласен. Владька поинтересовался, кто так красиво сказал о звездах и нравственности? Синус ответил: Кант. Юрка насторожился, посмотрел сбоку на классного руководителя — не шутит ли он? — но лицо учителя, смутно белевшее в темноте, было серьезным и немного торжественным. И тогда Бодров встревоженно удивился: Кант? Как же так? Ведь он идеалист! Синус поднял голову, посмотрел внимательно на Юрку и согласился, не скрывая раздражения, что да, Кант — идеалист, но он-то, Евгений Петрович, учитель математики и завуч, убежденный материалист, поэтому, дескать, у Бодрова не должно быть причин для беспокойства. Владька приглушил смехок, Юрка огорченно и испуганно сжался — понял, что чем-то обидел любимого преподавателя, но чем? Чем? И Синус, видно, почувствовал неловкость. Помолчав, он поинтересовался деловито, что думают Бодров и Борзенков о «Туманности Андромеды», которая как раз в это время печаталась с продолжением в «Пионерской правде». Юрка, чтобы реабилитироваться, принялся с жаром рассуждать о нейтронных звездах, гравитации, антивеществе, Владька поддакивал, ерзал, пытался вставить хоть слово и, когда умудрился вклиниться, выпалил, что самое невероятное, самое удивительное — парадокс времени, которре, ну прямо в голове не укладывается, может, оказывается, ускоряться, замедляться и даже остановиться...

— М-да, нравственный закон, — Юрий Иванович, кряхтя, поднялся с крыльца. Восток уже налился прозрачной зеленью, переходящей внизу в яркое свечение; небо над головой опустилось, вылиняло, звезды, прилипнув к нему, стали плоскими, поблекли.

Юрий Иванович медленно направился вдоль стены. Остановился около пришкольного участка, навалился животом на заборчик. В младших классах они каждый год высаживали на этом огороде какие-то кустики, каждый год те не приживались, а вот у нынешней малышни дело, видать, наладилось: плотной стеной по периметру, рядками в центре, стояли крепенькие, бодрые малины-смородины.

Рядом со школой была площадь, казавшаяся в детстве бескрайней, но Юрий Иванович не удивился, когда, выйдя на нее, увидел, что площадь оказалась обыкновенной, хотя и уютно-травянистой, поляной. Обошел церковку, прежде огромную, с высоченной колокольней, а теперь

съежившуюся, точно старушка на исходе дней; прочитал у входа: «Краеведческий музей г. Староновска», с уважением посмотрел сперва на табличку «Памятник архитектуры XVII в. Охраняется государством», потом на облупившиеся стены, окна-щели, заколоченные дощатыми щитами.

Близ неуклюжего и нелепого строения — полуподвал каменный, верх, накренившийся к дороге, наполовину кирпичный, наполовину из бревен — опять остановился. Теперь здесь гортоп, а раньше была почта. Отсюда Ю. Бодров отправлял письма со стихами и заметками сначала в «Пионерскую правду», потом в «Комсомольскую правду». Стихи не печатали: книжные, мол, живого чувства нет, да и форма хромает. Заметку одну опубликовали. В «Пионерке». О сборе металлолома. Да и то старшая пионервожатая рассердилась — с нее в райкоме комсомола потребовали те тонны «ценного вторичного сырья для металлургии», о которых писал юнкор Бодров, а во дворе школы сиротливо мокла под дождем, раскалялась на солнце, прижатая ржавой койкой, кучка дырявых ведер, помятых тазов и корыт.

Юрий Иванович прошел мимо веселого, с кирпичными розетками, длинного здания. В нем была редакция районной газеты и типография — а может, и сейчас они тут? — но сюда Ю. Бодров со своим творчеством не совался: стеснялся, думал, что осмеют — вот, дескать, посмотрите, писака нашелся, да и несолидной считал он, в глубине души, газетку. То ли дело получать фирменный, пусть даже с отказом, конверт из Москвы.

Свернул в переулок, побрел, пугая сонных кур, мимо серых изгородей, серых поленниц с пересохшими дровами и внезапно остановился — вот куда, гляди-ка, занесло! Веселое, яркое солнце, поднявшись над крышами, кинуло через улицу длинные тени, осветило громоздкий, без ставней, дом, заиграло, растеклось сверкающими пятнами по его стеклам. Здесь когда-то жила первая любовь Юрия Бодрова.

Влюблялся Юрка Бодров и раньше: то в пепельноволосую, «типичную представительницу», как ее называли ученики, учительницу литературы, то в итальянскую кинозвезду Джину Лоллобриджиду, то в рыжую продавщицу киоска «Союзпечать», но чувство, которое обрушилось на него, когда увидел на сцене Дома культуры Лариску Божицкую, оказалось ни с чем ни сравнимым, неожиданным, удивительным, невыносимо мучительным, окрыляющим и оглупляющим одновременно.

Был смотр школьной самодеятельности, и Ла-

риска исполняла монолог из какого-то водевиля. В широкополой соломенной шляпке, с чем-то розовым на плечах, она жеманничала, кокетничала, лукаво прикрывала лицо веером, и ее черные глаза блестели, то щурились, то распахивались изумленно, а Юрка сидел в первом ряду, обмирал, готов был от счастья шпынять локтями соседей, хватать их за руки, но не шелохнулся, окаменел и, чувствуя, что краснеет, с радостью и испугом прислушивался к себе — кружилась голова, хотелось смеяться, орать от восторга. Совсем забыл, что это та же самая Лариска — второгодница из девятого «А», которую, как ответственный за учебный сектор, отчитывал он на бюро, вернее, не забыл, а не хотел об этом думать: та была двоечница в коричневом платье, в черном переднике, школьница с настороженными, недобрыми глазами, а эта, на сцене, другая — веселая, соблазнительная, праздничная. И ему тоже стало весело, легко, празднично. В этом состоянии «телячьего восторга», как тогда говорили, он отыграл во втором отделении сцену из «Машеньки» Афиногенова и улыбался во весь рот, даже когда, изображая якобы уставшего жить Виктора, должен был ныть: «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим», даже когда поцеловал в щеку заранее съежившуюся от смущенья Машеньку — Лидку Матофонову, потому что видел вместо этой бездарной партнерши, с ее неуклюжими движениями, с ее шарнирными руками, воздушную, порхающую Ларису.

С этого дня началась для него жизнь, полная страдания и восторга: он, встретив Божицкую, или вышагивал мимо ходульной, солдафонской походкой, или, обомлев, говорил и себе-то противным то писклявым, то хриплым голосом, а на бюро, когда Ларису опять ругали за двойки, Бодров, который и троечников-то презирал, страдал из-за нее, убежденный, что она умница, что скрывает свои редкостные способности по каким-то ей одной ведомым причинам, и изнывал от умиления и этими тонкими, в чернильных пятнах, пальцами, и этими спиральными кудряшками на висках, и кружевным воротничком на форменном, но таком симпатичном платье.

Он отчаянно завидовал Генке Сазонову, который мог без робости болтать с Божицкой и даже — подумать только! — ходил с ней в кино. А однажды чуть не задохнулся, чуть не закричал от обиды и оскорбления, когда увидел Ларису рядом с Цыпой. Этого шпаненыша с косой сальной челкой и всегда приоткрытым ртом Юрка панически боялся и ненавидел, как боялся и ненавидел, содрогаясь от брезгливости, мокриц, пиявок, мохнатых пауков. Но даже еще не раз

встретив Ларису с Цыпой, уходил по-прежнему почти каждый вечер к дому Божицких, потому что не мог избавиться от наваждения — ее лица, ее глаз, ее улыбки. До поздней ночи, в снег ли, в метель ли, иногда и в дождь, прятался Юрка Бодров в тени на другой стороне улицы и, презирая себя за пошлость и литературность такого бдения, смотрел на окна Ларисы, где, если повезет, мелькал изредка на белом стекле стремительный гибкий силуэт.

Так длилось почти год. Но потом все кончилось. К очередному смотру самодеятельности драмкружок Дома культуры решил поставить «Свои люди — сочтемся». Подхализуна должен был играть Бодров, а роль Олимпиады, Липочки, дали медсестре, которую все мужчины звали Тонечкой. Юрка, как увидел ее, засмущался. Крепенькая, пышногрудая, румяная Тонечка была, конечно же, похожа на купеческую дочь, но... перед глазами стояла Лариса: в соломенной шляпке, в розовой накидке, обаятельная, веселая, милая. Юра представил, как было бы отлично работать с ней на сцене, а потом вместе идти после репетиции домой...

И он решился. В воскресенье отправился к Божицким. Прошагал с независимым видом мимо ворот; еще раз, потом другой. Наконец, с отчаяньем развернулся, вошел во двор, холодея от страха, стыда и смущенья. И сразу увидел ее. Лариса, задумавшись, возвращалась из огорода, оступаясь на узенькой, глубокой тропке, пробитой в снегу, а за спиной возлюбленной еще поднимался парок от мокрой проплешины на желтой ледяной куче с вмерзшими тряпками, бумагой, объедками. В красной от стужи руке Ларисы было черное помойное ведро, и от него тоже поднимался парок. Она шла, опустив голову, а Юрий Бодров изумленно разглядывал ее большую, не по росту, лоснящуюся телогрейку, клетчатый старушечий платок, обмотавший вкривь и вкось голову, огромные подшитые валенки, заляпанные навозом, подоткнутый подол застиранного бурого платья, из-под которого выглядывали красные, как и руки, ноги с синими коленками.

Лариса подняла голову, взвизгнула, присела на секунду, сбивая ладонями подол. «Чего пришел? Чего надо? — закричала зло. Поставила ведро, стремительно пошла к воротам, взмахивая рукой, словно выгоняя заблудшую корову. — Ну-ка, проваливай отсюда!» Он, прижавшись к калитке, принялся торопливо рассказывать про пьесу, про роль. Лариса, запахнув ватник, смотрела исподлобья, хмуро. От нее пахло не то клеенкой, не то мокрой тряпкой, которой вытирают стол, и это неприятно поразило Юрку.

«На фиг нужна мне твоя роль, — процедила Лариса по-уличному, сквозь зубы. — Играй ее со своей Тонечкой», — и засмеялась. Нехорошо, с ехидцей засмеялась...

Юрий Иванович вспомнил этот смех, вспомнил и парной запах, который долго-долго преследовал его и от которого зачало, скисло ощущение праздника, пока вместо него не всплыли удивление, досада, а потом и стыд за себя.

И все же Юрий Иванович почти с нежностью смотрел на дом Божицких, потому что та радость, которую подарила его душе Лариса, была самым сильным и ярким воспоминанием далеких лет. Он испугался, что его могут увидеть, и хотел уже уйти, но калитка ворот широко распахнулась и в проеме ее появилась женщина.

— Заходите, заходите, — певуче пригласила она не совсем трезвым голосом. — Я в окно вас увидела, вышла встретить. Вы, наверно, родственник Володи?

— Нет, нет, — испугался Юрий Иванович. — Извините. Я не к вам. Я тут случайно.

Солнце высветило женщину, шагнувшую навстречу, и он сразу узнал Ларису. Конечно, она постарела, отяжелела, но голос тот же, те же черные блестящие глаза, та же манера кривить рот, растягивая слова.

— Так вы не на свадьбу? — слегка удивилась Лариса, поджала в раздумье губы. — Прошу прощенья, — но, оценивающе оглядев Юрия Ивановича с головы до ног, взмахнула беспечно ладонью. — Все равно заходите. У меня дочка женится, то есть... — мелко засмеялась, помотала головой, — замуж выходит. Поздравьте ее.

— Ну что вы, неудобно. Спасибо. Извините, — Юрий Иванович попятился.

— Неудобно только штаны через голову надевать, — решительно заявила Лариса. Подошла, слегка покачиваясь, и от этого казалось, что она, обтянутая серебристым, переливающимся платьем, подкрадывается. Взяла осторожно, но властно под локоток. — Идемте, идемте... — Почувствовал сопротивление, взглянула удивленно. — Вы что, обидеть хотите?

Юрий Иванович, улыбаясь, смотрел сверху и сбоку на нее, прислушивался к себе, к легкому запаху духов, к требовательному усилию ладони, и ему было одновременно и смешно и тоскливо. Лицо Ларисы ужесточилось, четче проступили морщинки на переносице и около прищуренных глаз, но вдруг глаза эти медленно раскрылись, в них мелькнуло недоверие, потом растерянность, потом изумленье, потом радость.

— Бодров? — с сомнением и надеждой спросила она. Отступила на шаг, заулыбалась натянуто. — Ну, конечно, Бодров! — Дотронулась ми-

зинцем до подбородка Юрия Ивановича, отдернула руку.—Надо же... Борода. Колючая какая. Откуда ты взялся?

— Да вот, еду... к морю,—Юрий Иванович смущенно почесал нос.—Завернул на денек.

— Господи, да ведь и впрямь Бодров! — женщина ахнула, хлопнула перед своим лицом в ладоши, отчего кольца на пальцах металлически стукнули. Покачала головой.—Солидный какой стал, важный. В больших чинах, наверно, ходишь, в большие люди выбился,—и переполошилась: —Чего же мы стоим? Пошли, я тебя дочке покажу, гостям представлю,—и уже уверенно схватила Юрия Ивановича под руку, прижалась к нему.

— Неловко как-то. Да и спят, пожалуй, еще...—упирался Юрий Иванович, хотя ему очень хотелось бы взглянуть на дочь Ларисы.

— Ничего, разбудим,—твердо пообещала женщина.—Нечего дрыхнуть, раз такой человек пришел.

— Не делай этого, не надо,—взмолился Юрий Иванович. Глянул на часы — «06.07» — и нарочито громко встревожился.—Опоздываю! Меня машина ждет.

— Подождет, никуда не денется,—голос у Ларисы был властный, пренебрежительный, но неожиданно сразу же изменился, стал неискренне умильным, чуть ли не заискивающим.—А вот и дочка моя, Оленька. Познакомьтесь.

В калитке, уперевшись руками в столбы, стояла, слегка постукивая носком белой туфельки, девушка в белом же, затейливом, платье. Лицо у нее было утомленное, бледное после бессонной, сумбурной свадебной ночи.

— Что это значит, мама? — холодно спросила Ольга.

— А ничего не значит. Мала еще допросы устраивать,—резко, почти крикливо, ответила мать.—Поздороваться надо сначала,—она еще плотней прижалась к Юрию Ивановичу.

Дочь еле заметно повела плечами, еле заметно усмехнулась.

— Здравствуйте.

А Юрий Иванович глядел на нее и видел ту, давнюю, хрупкую и стройную, Ларису — так похожа была Ольга на мать в молодости. Только у этой девушки взгляд независимей и уверенней, чем у Ларисы в юности, и губы откровенней кричатся в снисходительной усмешечке.

— Я школьный друг вашей мамы,—кашлянув в кулак, пояснил Юрий Иванович.—Мы целую вечность не виделись, и вот — случай помог. Я тут ненароком оказался. Мы с Владькой, с Борзенковым...—уточнил, глянув на Ларису: помнит ли она Владьку?

— Ах, так вы с Владиславом Николаевичем приехали? — Ольга смутилась.—Простите меня, я не знала.—Она слегка отступила в глубь двора.—Проходите, пожалуйста. Мы очень рады,—но в голосе была неуверенность, почти растерянность. Юрий Иванович догадался, что девушка обеспокоена: мало ли как гость воспримет беспорядок после пира.

— Прошу, ради бога, не обижаться и не сердиться, я не могу,—он прижал руку к груди.—Никак не могу... В семь у нас очень важный эксперимент,—и сделал серьезное, значительное лицо.

— Знаю, знаю. Пуск установки «Ретро». Я ведь тоже у Владислава Николаевича работаю. Программисткой,—Ольга откровенно обрадовалась, что приезжий отказался зайти, но сочла нужным сделать опечаленный вид.

— Все же надеюсь, что вы как-нибудь заглянете к нам? — и с уважением посмотрела на мать.

Та победно глянула на нее, приказала:

— Принеси нам сюда чего-нибудь,—открыла калитку в палисадник.—Мы выпьем за встречу и за твое счастье...

— Но товарищу...

— Бодрову,—с гордостью подсказала Лариса.

— Товарищу Бодрову, наверно, нельзя? — с утвердительными интонациями предположила дочь.

— Можно,—резко заявил Юрий Иванович. Ему не понравилось, что эта девочка решает за него, да еще так уверенно.

— Ты же знаешь, мама, что у нас...—Ольга сделала страшные глаза, растопырила в сдержанном возмущении пальчики.

— Ничего, давай, что осталось. Тащи водку,—разрешила Лариса. Пропустила Юрия Ивановича вперед, похлопала его по широкой кожаной спине.—Он хоть и академик, а прежде всего — мужик.

— Что-то очень уж ты меня вознесла — академик! — хмыкнул Юрий Иванович, втискиваясь между хлипким садовым столиком и скамейкой.

— А чем ты хуже Борзенкова? — удивилась Лариса.—Ты был способней, напористей, всегда на виду.—Она села напротив, перекачнувшись, оперзала, устраиваясь поудобней. Оправила платье.—Владька членкор, а тебе, выходит, сам бог велел действительно быть. Пожалуй, уж и Героя Труда получишь? А? — без любопытства, из вежливости, поинтересовалась и польстила неумело.—Глядишь, в твою честь улицы называть будут.

Юрий Иванович, хакнув, наморщил лоб, яро-

стно почесал его. «Владька — членкор! — ошале-ло повторил он.— Академик! С ума сойти...»

— Чего молчишь? Засекреченный, что ли? — насмешливо поллюбопытствовала Лариса. Уперлась локтями в стол, положила подбородок на сцепленные пальцы, и взгляд женщины, доброжелательный, ласковый, постепенно затуманился, стал далеким и печальным.— Ох, Юрий Иванович,— неглубоко, по-бабьи, вздохнула она,— как же я тебя, дура, любила, как сохла по тебе, как ревела... Сейчас даже вспомнить смешно.

Юрий Иванович рывком поднял лицо, заморгал, чувствуя, что кровь ударила в голову.

— Не веришь? — Лариса вяло улыбнулась.— И не надо,— потерла щеки ладонями, потом аккуратно, точно школьница, положила руки на стол, навалилась на них грудью.— Я ведь почти из-за тебя на второй год в девятом осталась. Думала, вместе учиться будем. А потом испугалась, в «А» попросилась.— Она засмеялась, крутанула головой.— Вот дуреха-то была, ей-богу. С Лидкой Матофоновой, выдрой этой, сдружилась. Она мне все про тебя рассказывает, лопочет вот так,— закатила глаза, прижала ладони к груди, быстро-быстро зашевелила губами,— а я думаю: придушила бы тебя, ведьму... Потом Тонечка эта появилась. Нашел тоже! — презрительно поджала губы, передернулась.

Юрий Иванович почувствовал, что покраснел окончательно, удивился: «Смотри-ка, краснеть не разучился!» Хотел сказать, что и он к ней, Ларисе, был, как бы это выразиться, равнодушен, что ли, но вместо этого зло буркнул:

— Что же ты тогда с Цыпой? С Генкой?

— С Цыпой? — поразилась женщина. Всплеснула руками и даже от стола откатнулась.— Так ведь тебе назло! Знала, что ты его ненавидишь. Вот и решила побесить. А с Генкой... — склонила, словно в вальсе, голову, плавно повела руками.— Здесь дело сложнее. Во-первых, он сидел с тобой на одной парте, во-вторых...

Но тут припорхнула Ольга. За ней, как в классической драме, шел высокий парень в черном костюме и белом галстуке, держал в вытянутых руках поднос, прикрытый салфеткой.

— Вы извините, у нас ничего такого особенного нет. Мы ведь не думали, что вы придете, поэтому уж не обесудьте,— щебетала Ольга, составляя на стол графинчики, тарелочки, рюмки и поглядывая на гостя восхищенно, хотя и с некоторым испугом.— А это Володя, мой муж,— показала взглядом на парня с подносом, поале-ла секундочку, посмущалась, но тут же с трогательной и неумелой властью молодой жены прикрикнула на него: — Помоги, чего стоишь!.. Он у меня застенчивый,— пояснила деловито.

Юрий Иванович с улыбкой наблюдал, как она хлопочет, стараясь выглядеть опытной хозяйкой, как неумело тычется, пытаясь помочь ей, действительно застенчивый и симпатичный Володя, который то и дело вытягивал шею: туго затянутый галстук почти придушил его.

— Ну вот, кажется, все,— Ольга придирчиво окинула взглядом стол.— Мы пойдем.

— Куда вы? Так нельзя,— Юрий Иванович поднялся, зацепив животом край стола. Качнулись рюмки, Лариса придержала их, а молодые даже не глянули. Они, выпрямившись, вытянувшись, почтительно смотрели на друга Владислава Николаевича.

— Извините, что я без подарка. Как-нибудь, при случае, исправлю промах,— Юрий Иванович взял услужливо пододвинутую стопку, кивком поблагодарил Ларису, а в голове мелькнуло: «Зачем вру? При каком еще случае?» — Очень рад с вами познакомиться. Вы такие славные, такие молодые, все-то у вас еще впереди.— Вздохнул и, выпив одним глотком, повелел: — Горько!

Рюмка в руках Ольги слегка плеснула; девушка опустила ресницы, повернула к мужу серьезное лицо и ткнулась в его губы вытянутыми в трубочку губами.

— Эх, разве так любимого целуют! — выкрикнула отчаянно Лариса. Выпила, рубанула удальски воздух ладонью.— Дай-ка я тебя, Юрий свет Иванович, поцелую хоть один раз в жизни. Вот уж горько так горько! — и потянулась всем телом через стол, обреченно закрыв глаза.

— Мама! — полным ужаса голосом простонала Ольга.— Извините ее,— молниеносно изобразила Юрию Ивановичу улыбку и снова зашипела, даже посерев от стыда: — Мама, прекрати!

— Ничего, дочка, я шучу,— мать уперлась кулаками в стол, опустила голову.— Идите, а то нехорошо: родню бросили, гостей. Они уже встали...

Юрий Иванович проследил за взглядом женщины, увидел бледные пятна лиц за стеклами окон и демонстративно посмотрел на часы: «06.30».

— Ого! Мне пора. Время.

— Сейчас пойдешь,— Лариса, не глядя на Ольгу, приказала раздраженно: — Иди, доченька, я скоро.

Юрий Иванович подождал, пока Ольга и парень выйдут из палисадника, скроются во дворе, и, повернувшись к Ларисе, почувствовал внезапно такую изжогу на сердце, такую тоску, что чуть не застонал.

— Давай-ка мы с тобой по полному,— предложил.— За нас.

— Лей,— женщина слабо дернула плечом.

Она отрешенно смотрела в сторону, но когда Юрий Иванович, разлив водку, деликатно поступал стопкой по ее рюмке, встрепенулась.— Что это я раскисла?— удивленно спросила сама себя.— Ну и дела!— Чокнулась, отпила, вытерла ладонью губы.— Накатило что-то, вспомнилось. С кем не бывает, верно?— Она с мучительной гримасой наблюдала, как Юрий Иванович, морщась, нюхал корочку хлеба, и, когда он, облегченно выдохнув, повеселел, заметила обиженно:— Хоть бы пожевал чего, а то заглотил, как грузчик.

— Будь здоров!— пробормотал Юрий Иванович и, сконфузившись за эту необязательную, уместную лишь с собутыльниками, скороговорку, напомнил деловито:— Ты хотела еще что-то сказать про Генку, какое-то «во-вторых».

— Ах, Генка...— рука женщины замерла над столом.— Будешь еще есть?— Увидела, что гость отрицательно покачал головой, встала.— Пошли. Скоро семь. Нехорошо людей подводить.

Юрий Иванович удобно раскинул локти по столу. Хотя он и был до этого голоден— со вчерашнего дня не ел,— почувствовал, как всегда после выпитого, что аппетит пропал; стала таять и тоска, пока не пришла вместо нее, тоже как всегда, спокойная уверенность в себе. Ему хотелось сидеть так долго, попивать— благо есть что, рассуждать о жизни— благо есть с кем, поспрашивать Ларису— вот новость, она, оказывается, любила его! Но, наткнувшись на строгий взгляд женщины, нехотя поднялся.

Лариса деловито прошла вперед и, когда Юрий Иванович, нагнав ее на улице, пристроился рядом, сказала равнодушно:

— Подлец он, твой Генка. Ольга-то ведь от него,— помолчала, глядя под ноги.— Я после школы никуда не поступила, пошла в торговлю. А он какой-то техникум коммунального хозяйства закончил. Вернулся. Ну и началось у нас все такое,— она брезгливо дернула губой, пошевелила пальцами.— Словом, забеременела я. Геночка сразу хвост дугой и прости-прощай. Знать меня не знает, ведать не ведает.

Юрию Ивановичу стало неприятно и как-то неловко.

— Да, тяжело тебе было одной,— постаравшись, чтобы голос звучал как можно сострадательней, посочувствовал он.

— Еще чего!— обиделась Лариса.— Ольга ни в чем нужды не знала. Да и я не в лаптях ходила, квасом с редькой не питалась. В торговле жить можно,— хвастливо заявила, но сообразила вовремя, что слова эти некстати, не для этого разговора, и выкрикнула поспешно:— Не жалей ты меня, ради бога! Были у меня мужья, знаю

им цену. Кого вытурила, кто сам ушел, а Витенька— помнишь Лазарева?— на мотоцикле разбился.

Юрий Иванович сделал подобающее моменту печальное лицо, вздохнул, качнул скорбно головой.

— Золотой был человек. Только пил много,— Лариса повернулась к нему. Уголки губ женщины устало и привычно опустились.— Вот и ты пьешь нехорошо— жадно. И меняешься сразу. Но все равно...— зажмурилась крепко-крепко, обхватила себя за плечи.— Позови ты меня сейчас, пошла бы, не задумываясь, пусть даже босиком по битому стеклу.

— Некуда звать,— насмешливо ответил Юрий Иванович.— Разве что к морю.

— А хоть в тундру! Дай-ка я тебя все-таки поцелую,— посмотрела жадно, с болью. Обняла, вытянувшись на цыпочках, отыскала теплыми губами в бороде-усах рот Юрия Ивановича и застыла.

Потом оттолкнулась и, не оглядываясь, пошла непринужденной, раскованной походкой.

Юрий Иванович, жмурясь от солнца, глядел ей вслед. Хотел усмехнуться, но вместо ухмылки получилась растерянная улыбка. Проследил, как женщина скрылась за палисадником своего дома, повернул в переулок и, все еще ощущая на губах ее губы, а в усах тоненький аромат ее духов и ее кожи, вышел на площадь. И вдруг в голову стремительно и сладко ударило расслабляющей истомой, и тело, казалось, исчезло, перед глазами поплыл розовый туман...

3.

«Однако слаб я стал,— огорчился Юрий Иванович.— Две стопки— и готов! Обморок».

Посмотрел на часы— «07.01»— и огорчился еще больше: опоздал! Резво, переходя иногда на рысцу, заспешил он через площадь, но около церкви чуть не упал, сбившись с шага, и остолбенел.

Церквушка стояла беленькая, чистенькая, с пронзительно синими куполами. И не было на ней табличек «Памятник архитектуры XVII в. Охраняется государством», «Краеведческий музей г. Староновска», не было и деревянных щитов на узких окнах. Юрий Иванович ошалело смотрел на нее, потом испуганно развернулся, оглядел площадь— нет, ничего не изменилось! Те же старые, памятные еще по детству, добротные строения, те же липы в небольшом скверике напротив. Солнце весело переливалось в стеклах окон, лежали на траве синие тени, бродили,

переваливаясь, сытые голуби. Иногда они заполошно срывались с места, взмывали на колокольню, туго свистя крыльями. Тихо, уютно, дремотно было вокруг, но Юрий Иванович чувствовал, как нарастает в душе беспокойство, какое-то неясное ощущение беды. Он осторожно, чуть ли не на носочках, отошел от церкви, глянул озабоченно вверх по улице — краснела кирпичными стенами школа, видны были вдаль два одиноких прохожих. Глянул вниз — улица привычная, узнаваемая, но все же тревожный холодок в груди не исчезал, успокоенность не приходила. Юрий Иванович, почему-то воровато оглядываясь, вошел через знакомые железные воротца в сквер, пробежал по нему трусцой — кратчайшая дорога к бывшему дому Бодровых — и... Ему стало жутко.

Учебного центра не было. Вместо него, на той стороне улицы, стояли деревянные дома, и среди них, напротив, — желтый, веселый коттеджик, в котором жил когда-то он, Юрий Иванович, Юрка Бодров. Сердце гулко и беспорядочно заколотилось.

— Так, — он облизнул губы. — Приехал к морю... Или я шизанулся с Ларискиного угощения, или сплю. Допился, алкаш!

Но говорил больше для порядка, чтобы услышать свой голос, потому что знал: и рассудком не тронулся, так как голова была на удивление ясной, мысли четкими, и не спит — стучало, успокаиваясь, сердце, затихал в ушах ритмический, похожий на шелест волн, шум крови, покалывало, отпуская, ноги — ощущения были нормальными, естественными. Юрий Иванович достал все еще подрагивающими руками сигареты, зажгилгалку. Прижег сначала, на всякий случай, для проверки, ладонь, отдернул ее, — больно! Прикурил, затянулся несколько раз, не выпуская дым. Закашлялся, поплевал на окурочок, отбросил его. Прodelал все это, не отрывая глаз от домика напротив: серый шифер крыши, белые шторы в освещенных солнцем окнах, светлые планки штакетника, калитка — все это материально, вещественно, фактурно. Звонко трещали воробьи, шумела листвою липа — Юрий Иванович спиной ощущал бугристость ее коры, — промчалась по улице, пробренчав какой-то железкой, «Победа», оставила после себя медленно оседающую пыль и слабый запах выхлопов — и это все было реально: видимо, осязаемо, обоняемо.

— Ситуа-ация! — Юрию Ивановичу опять стало жутко; он, успокаивая себя, забормотал: — Значит, так, разберемся. Если я не сошел с ума и не сплю, значит... Значит, я оказался в прошлом. Вот привязалось: «значит», «значит»! Ни черта это ничего не значит. Стоп! Если я ока-

зался в прошлом, то... Мать честная! — ахнул, вытаращил глаза, уставился на свой дом: все еще не верил, боялся спугнуть догадку. — Это получается, что я смогу увидеть самого себя, — торопливо прижал руку к опять зачистившему сердцу, снова облизнул губы. — Спокойно, спокойно... Бред какой-то. Я — встречу самого себя?! Сейчас я точно чокнусь.

Он нервно хихикнул, принялся ощупывать, осматривать себя. Допустим, он действительно оказался в прошлом, но тогда, может, превратился в Бодрова тех лет: пацана, отрока, юношу. Но нет: кожаный пиджак, джинсы, малиновая нейлоновая рубашка, лысина — он даже пошлепал по ней ладонью, — борода, пузо, наконец, — все на месте. Юрий Иванович растерянно оглаживал бороду и вдруг замер, зажав ее в кулаке: припомнил, как на последней остановке перед Стариновском брякнул, что мечтал встретить бы себя семнадцатилетнего, а Владька и смотрел странно, и говорил загадочно.

— А, ладно, — решил Юрий Иванович, взмахнув рукой. — Поживем — увидим!

Откачнулся от дерева, побрел, загребая ногами, к той части ограды, где должна быть дыра. Дыра оказалась на месте. Он, отдуваясь и пыхтя, протиснулся в нее.

На другой стороне улицы Юрий Иванович с праздным видом, но напрягшись и обмирая, прошел мимо своего дома. Провел ладонью по доскам штакетника, глянул через забор на широкую полосу зелени во дворе, на полотенца, майки, трусы, что сушились на веревке, протянутой от скворечника до самодельного турника. Все будничное, обыденное, знакомое. Удивившись, что не потрясен и не упал в обморок, дошел до ворот дома Матофоновых. На этой вот скамейке он частенько сживал вечерами, слушая с ироническим видом болтовню Лидки; около этих ворот умело целовался с ней, наученный Тонечкой, чувствуя и гордость за себя, и почему-то жалость к этой худенькой девчонке, которая вообще-то была безразлична ему. И опять Юрий Иванович поразился, что не волнуется, что все ему кажется таким, словно еще вчера был он здесь. Сел на скамейку, откинулся к спинке, глядя сквозь прищур на свой дом.

Лязгнул засов, скрипнули петли калитки. Вышла худая, загорелая женщина с суровым и властным лицом. Юрий Иванович невольно принял позу примерного школьника, подтянул живот.

— Здравствуйте, тетя Валя, — невольно вырвалось у него. И вот тут-то он вздрогнул, тут-то понял всю нелепость, весь трагикомизм положения: мать Лидки была едва ли старше Юрия Ивановича.

— Здравствуйте...— женщина стянула на груди полы вылинявшей трикотажной кофты, посмотрела с удивлением и опаской. Лицо Юрия Ивановича, видно, поразило ее. Она нахмурилась, посуровела еще больше. Отвернулась, и даже по спине, по осанке видно было, как возмущена мать Лидки.

— Нальют шары с утра,— уничтожительно заворчала она. Покосилась через плечо.— По виду, вроде, шофер, а так опух, оброс, чисто поп. Срамота!— встретила взглядом с изумленными глазами Юрия Ивановича, взорвалась:— Ну, чего расселся? Сродственник какой нашелся. Я тебе покажу «тетю»! Давай топай отсюда, а то мужа позову!

Юрий Иванович открыл рот, чтобы сказать, что нет у нее никакого мужа, а потом спросить—какой нынче год, но вдруг ощутил, как кровь отхлынула от лица, под горло подкатило что-то похожее на тошноту. Он увидел—из калитки его дома вышел парень. Чистенький, опрятный, в вельветовой коричневой курточке с замками-молниями; по верх воротничка курточки выпущен воротничок бледно-голубой шелковой тенниски. Юрий Иванович дернулся, хотел встать—и не смог: ноги ослабли, руки обмякли, обессилели. В парне он узнал себя.

Мать Лидки торжествующе усмехнулась.

— Во, наелся! Дрыгаться стал,—но, присмотревшись, встревожилась.—Худо, что ли? С лица то как спал, аж позеленел. Может, воды принести или от сердца чего?

— Здравствуйте, тетя Валя,—вежливо и как-то слащаво поздоровался, подойдя, юный Бодров.

Женщина оглянулась, заулыбалась.

— А, Юра, здравствуй, здравствуй. Тебя-то я и поджидала. Обожди-ка.

Юра остановился. Взглянул равнодушно на Юрия Ивановича, задержал взгляд на кожаном пиджаке, на туфлях с толстой подошвой. Выслушал внимательно женщину, которая длинно и путано объяснила, что Лидка, дырявая голова, убежала на экзамен, а книжки-то и забыла. Взял учебники, хотя и заметил поучающим тоном, что они теперь едва ли понадобятся Лидии, если она не готовилась к экзаменам.

«Ах, паршивец! Говорит-то, говорит как: осуждает, порицает!»—Юрий Иванович вспомнил, как, устав от предэкзаменационной зубрежки, приходил к Матофоновым и дурил голову измученной любовью Лидке рассказами о том, как поступит в университет, как станет знаменитым—только перед этой преданной глупышкой мог он, и позволял себе, слегка приоткрыть душу,—и, взбодрив себя, уходил опять в сарай

учиться, посмеиваясь и твердо зная, что Лидке теперь и вовсе не до наук, что сидит она сейчас убитая горем, оттого, что Юрочка не обнял ее, не потискал, даже не поцеловал, что она самая несчастная на свете, настолько несчастная—жить не хочется.

Юрий Иванович, вцепившись в сиденье, рассматривал Юру, его сухое, уверенное, с темным пушком над верхней губой лицо, и оно нравилось ему, хотя и раздражал такой холодок, такая сонная истома в глазах. «Вот какой я был. Батюшки, неужто это я?!» Он слышал голос юноши, и голос этот нравился; настораживал, правда, легкий, как дымка, что остается от дыхания на стекле, оттенок пренебрежительности. «Господи, да ведь это я!»—вновь остро и пронзительно сообразил Юрий Иванович и застал от неправдоподобности, абсурдности происходящего.

Юра с легким удивлением посмотрел на него, шевельнул бровью.

— Вы Бодров?—Юрий Иванович наконец отклеился от скамейки. Встал, пошатнулся.

Лидкина мать поглядела на него с неприязнью, потом, будто призывая взглядом: «Вот, полюбуйся!»—на Юру, потом, уже более внимательно, опять на Юрия Ивановича. И в глазах ее прорезалось новое выражение, похожее на вопрос, на тень недоумения.

— Да,—ответил Юра.—Я Бодров. А что?

— Мне надо с тобой поговорить,—Юрий Иванович испугался, что глаза выдадут, достал, стараясь не суетиться, очки. Надел.—В школу?—полюбопытствовал хрипло и, не дожидаясь ответа, приказал:—Идем. Нам по пути.

Отойдя, оглянулся. Лидкина мать смотрела им вслед, приоткрыв рот.

— О чем вы хотите поговорить?—настороженно поинтересовался Юра.

Юрий Иванович хмыкнул. Задрал голову, почесал сквозь бороду шею.

— О многом,—ему очень хотелось пощупать Юру, ущипнуть. Он даже попытался толкнуть его плечом, но тот увильнул, отошел на шаг в сторону.—Разговор будет долгий, и я не хочу перед экзаменом отвлекать тебя... Кстати, что сдаешь?

— Последний. Историю.

— Ага, историю. Это хорошо. Значит, ты в десятом классе, и получается...—Юрий Иванович чуть не сказал: «Получается, что я попал в пятьдесят седьмой год», но вовремя удержался. Припоминая, наморщил лоб, потер его ладонью. Какие были вопросы по физике, химии, математике он забыл напрочь, а вот история? По истории, кажется...—Слушай. Тебе достанутся

реформы Ивана Грозного. Я не знаю, как это сформулировано, посмотри в билетах. А директор задаст дополнительный вопрос,— Юрий Иванович вспомнил, что именно из-за этого вопроса не забыл экзамен по истории,— о положительном значении опричнины.

— Откуда вы знаете? — Юра поглядел недоверчиво.

— Я все знаю про тебя,— серьезно ответил Юрий Иванович.— Подготовь этот билет. А после экзамена не теряйся. Мне действительно надо о многом с тобой поговорить,— положил ему на плечо руку, слегка сжал пальцы — крепкое, мускулистое плечо, вздрогнувшее от неудовольствия.— Иди, учи Ивана Грозного и его положительную роль в истории. После экзамена жду тебя.

Юра с нескрываемым облегчением резво зашагал, не оглядываясь, к школе...

На втором этаже, около десятого «Б», сбились в кучку девушки в форменных, с белыми передниками, платьях, парни, все, как один, в вельветовых куртках. Юра, прислонившись к стене, читал сосредоточенно учебник. Рядом, независимая, заложив руки за спину, стояла Лидка Матофонова — Юрий Иванович то ли вспомнил, то ли догадался, что это она, — и поглядывала: собственнически на Юру, горделиво на подруг. Она изредка встряхивала жиденькими косичками, и Юрий Иванович вспомнил, что сегодня же они будут срезаны в парикмахерской, а вместо них на голове этой девочки закудрявится шестимесячная завивка, которая придаст Лидке глуповатый овечий вид.

Он, чтобы не смущать себя юного, вильнул в тупичок, где были кабинет директора, учительская, пионерская комната, и обомлел — увидел Ларису. Ее-то Юрий Иванович сразу узнал.

Девушка, прищурясь и язвительно покусывая губы, рассматривала стенгазету, а Юрий Иванович увидел другую Ларису, полную, в серебристом платье, с кольцами на пухлых руках, ощутил опять теплую влажность ее губ на своих губах, округлость ее плеч под своими ладонями; увидел и Ольгу, дочь этой школьницы, и, набрав побольше воздуха в легкие, с шумом выдохнул. Лариса медленно повернула голову, но с места не сдвинулась, когда Юрий Иванович встал рядом. Он поглядел на нижний угол газеты, который изучала девушка, увидел карикатуру: взлохмаченный уродец с длинным красным носом кривлялся, размахивая портфелем, изо рта человечка вырывалось облачко, внутри которого написано: «Не хочу консультации посетить, лучше «буги-вуги» танцевать!» Внизу пояснение: «Ученик 10 «Б» кл. Бодров нерегуляр-

но посещает консультации по некоторым предметам».

Юрий Иванович не забыл, как был взбешен и одновременно напуган, увидев карикатуру, — сколько выговоров вклеили по настоянию самого Юры тем любителям джаза, что пытались проигрывать на школьных вечерах «Стамбул» и «Мамбо итальяно», сколько порицания обрушил Юра на поклонников песенки «Мишка», которая считалась образцом пошлости и безвкусицы. А тут — с ума сойти! — «буги-вуги»! Скандал, катастрофа, смерть репутации и характеристики! «Какая энергия, какие силы были затрачены мной на ерунду, на эту нешуточную борьбу с невинными шлягерами», — подумал Юрий Иванович, и ему стало жалко себя — школьника, потому что не знал бедный Юра Бодров, что будут впереди и рок-н-роллы, и твисты, и шейки, что можно будет открыто, не таясь, слушать и смотреть по телевизору — которого Юра тоже пока не видел — всяческие «Битлзы», «Аббы», «Бони-М», посещать дискотеки, концерты рок-групп, и ни у кого это не вызовет гнев; не знал, оттого и прослушивал, почти до нуля уменьшив громкость и поскуливая от восторга, купленные у Тонечки пленки с рентгенограммами черепов и грудных клеток, на которых были записаны бесхитростные ритмические мелодии, казавшиеся дерзкими, вызывающе-бесстыдными.

— За что ты его так разделала? — спросил Юрий Иванович. Лидка с удовольствием доложила Юре, что это Божицкая постаралась, нарисовала карикатуру. — Любишь ведь парня, а так удружила.

— Я?! — Лариса покраснела, задохнулась от неожиданности. — Как вам не стыдно?!

— Чего тут стыдиться, чувство святое, — Юрий Иванович опять подумал о сегодняшнем поцелуе Ларисы-женщины. — Из-за Тонечки, что ли?

— А хоть бы и из-за Тонечки, — с вызовом подняла подбородок девушка. — Пусть не воображает ваш Бодров. Нас поучает, воспитывает, а сам на вечеринках у этой Тонечки что вытворяет! И вообще...

— Тихо, тихо, — Юрий Иванович прижал палец к губам, выглянул за угол, Юры не было, зашел, наверно, в класс. — А любить Бодрова вы будете даже в день свадьбы своей дочери, — он серьезно посмотрел в глаза Ларисе, — а может, и до конца жизни.

— Вы... вы дурак! — она, чуть не плача, глядела на него с ненавистью. — Старый, лысый, а такое говорите!

И, резко повернувшись, зачастила каблучками вниз по лестнице.

Юрий Иванович огорченно потер нос и пожалел, что ляпнул лишнее: не хотел, совсем не хотел обижать девушку.

Заложил руки за спину, вышел в коридор. Напротив дверей класса пристроился на подоконнике рядом с Лидкой Матофоновой.

— Борзенков еще не сдал? — отрывисто и громко спросил он, ни к кому не обращаясь.

Все вздрогнули, повернули к нему головы, но промолчали.

— Нет, готовится еще. Сейчас после Сазонова пойдет, — бойко доложила Лидка. Дерзкие зеленые глаза, окруженные синими тенями — «следы бессонных ночей», — крепится изо всех сил, чтобы не рассмеяться. — А вы кто ему? Дядя?

— Крестник, — серьезно ответил Юрий Иванович.

Она не выдержала, прыснула в ладонь. И подружки хихикнули, заотворачивались, заприкрывали книжками лица.

А Юрий Иванович грустно смотрел на Лидку и думал: вот станет она со временем агрономом, нарожает уйму детишек, будет мотаться по полям в слякоть и сушь, ругаться с нерадивыми мужиками, сориться с начальством из-за каких-нибудь семян или сроков, переживать из-за погоды, из-за всхожести, из-за урожая, и исчезнет, наверно, эта смешливость, зачерствеет лицо, потому что начнется нелегкая, но настоящая жизнь, далекая от легкомысленности и шуточек, жизнь, в которой ничего-то не останется в памяти от сегодняшнего последнего экзамена, от влюбленности в отличника Юрия Бодрова, и сам он заслонится новыми, подлинными заботами и радостями, огорчениями и праздниками.

Юрий Иванович медленно перевел взгляд на одноклассников. Вот эта тихонькая, застенчивая — как ее? — Надя, фамилия еще забавная, ах да — Кабанец, станет врачом, и Владька говорил, хорошим врачом. Этот здоровенный бугай Ленка — стоп, стоп: Шеломов! — будет не то шахтером, не то металлургом — вспомнил: металлургом — прославится. Вот этот... Юрий Иванович опустил глаза. Белоголовый, кудрявый Витька Лазарев станет мужем Ларисы, будет для нее «золотым человеком», только начнет выпивать и разобьется на мотоцикле.

У всех со временем сложится своя жизнь, появятся свои беды, свои победы, свои удары и подарки судьбы — все станет сложно, запутанно, противоречиво и так далеко от нынешнего дня, от сегодняшних, вчерашних, позавчерашних волнений, проблемшек, переживаний. Потому что впереди каждого ждет труд, семья, дети. А это ответственно, это серьезно. Потому-то на-

всегда останутся в жизни самыми яркими, безмятежными, и чем дальше в годы, тем видимые все более светлыми, беззаботными, дни — сплошной солнечный день! — от первого школьного звонка до выпускного вечера.

Дверь скрипнула, и выскочил красный, взъерошенный Генка Сазонов. Юрий Иванович глазами энтомолога, увидевшего редкое насекомое, уставился на него — попытался разглядеть в бывшем друге соблазнителя Ларисы и будущего горкомхозовского начальника. Ничего не увидел: типичный школяр, сдавший наконец-то экзамен.

— Четверка! — Генка счастливо улыбался. — Поплыл на военном коммунизме, продрозверстке, продналоге. Спасибо, Владька помог.

Соученицы дружно склонились над тетрадками, зашелестели страницами — вычеркивали билет Сазонова.

— Ген, Ген, а что там Бодрову досталось? Он Грозного сейчас зубрил, — Лидка теребила его за куртку, пританцовывала, заглядывала умоляюще в лицо.

— Не знаю, — пренебрежительно отмахнулся Сазонов. — Строчит что-то. На то он и Бодрый, — в голосе его звучала явная насмешка.

— Не Бодрый, а Тартюф, — пискнула та самая Надя, что станет хорошим врачом.

«Ах ты, серая мышка, не ожидал от тебя!» — Юрий Иванович обиделся. В девятом классе, когда Юра сыграл в сцене из Мольера, это прозвище чуть-чуть не прилипло к нему, но, слава богу, к десятому классу забылось. Оказывается, нет. И, судя по реакции, вернее по отсутствию ее, было привычным, устойчивым. Это поразило Юрия Ивановича: он полагал, что одноклассники если и не любят его, то уж уважают-то наверняка. И особенно покоробил тон Генки — все-таки Юра считал Сазонова своим другом: сидели с первого класса за одной партой. Но вместе с досадой, удивлением почувствовал Юрий Иванович и неловкость — словно подслушивает перед закрытой дверью, как судачат о нем.

— Лида, скажешь Бодрову, что я жду его во дворе, — он сполз с подоконника, одернул вздыбившийся на животе пиджак.

— А как сказать? Кто ждет? — девушка, удивившись, наверно, что бородатый толстяк знает ее имя, часто-часто заморгала.

— Кузен Тартюфа, — подумав, ответил Юрий Иванович и отошел, чувствуя, как буравят затылок десятка два глаз. Остановился. Повернулся вполборота. — И Борзенкову передай, что я его жду. Обязательно передай!

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ





ЛИЦОМ

Фантазия

на тему судьбы

Эрнст БУТИН
Рисунки О. Шапкина

К ЛИЦУ

Он вышел на заднее крыльцо, секунду поразмышлял и направился к стадиону — увидел Синуся, который наблюдал, как Саид размечает толченой известью баскетбольную площадку. После Синуся Саид был самым любимым учителем Юры. Юрий Иванович помнит, сколько старания приложил, чтобы завоевать доброе слово физрука, до изнеможения выкладываясь на тренировках. Но все зря: Саид держался с ним холодно, не шутил, как с другими, разговаривал официально-требовательно, и имел вид, будто ждет от Бодрова каверзы или пакости. «А ведь ставил меня на самые трудные этапы в эстафетах, — удивившись, что все еще гордится этим, подумал Юрий Иванович. — Знал, что Бодров не допустит, чтобы кто-то оказался впереди, поэтому загонит себя до разрыва сердца, упадет трупом после дистанции, но придет первым».

— Здравствуй, — Юрий Иванович постарался, чтобы тон был непринужденный, однако голос все-таки дрогнул: странно видеть такими молодыми, такими обыкновенными учителей, которые раньше казались людьми особенными, исключительными. Когда-то трепетал перед ними, безоговорочно признавал их опытность, мудрость, радовался, если похвалят, гордился, если отметят, а сейчас — стоят, кхе-кхе, парнишки, один в синем пиджаке, второй в тренировочном костюме, и никакой-то значительности, загадочности в них нет.

Учителя повернулись, глянули коротко и внимательно, как смотрят на незнакомого, поздоровались и опять принялись вспоминать о каких-то соревнованиях. Юрий Иванович вздрогнул, потому что услышал свою фамилию. Синуся упрекнул Саида, что зря-де он не поставил Бодрова на третий этап, а Саид раздраженно ответил, что Бодрова можно ставить лишь с равными, а лучше, если соперники слабей — это очень удивило Юрия Ивановича, — потому что Бодров, почувствовав, что проигрывает, может выкинуть какой-нибудь фокус: притвориться, например, что растянул связки и сойти с дистан-

ции. Помнишь, был такой случай во время кросса, когда он вернулся на старт? А предновогодняя лыжная гонка, когда он нарочно сломал крепление?

Переговаривались учителя вяло, с паузами, обсуждали соревнование, видно, не раз, поэтому Синуся особенно и не настаивал, Саид особенно и не доказывал. Юрий Иванович догадался, что речь идет об эстафете на приз районной газеты, но соревнования пятьдесят седьмого года не вспомнил — школа всегда занимала первые места; не вспомнил и кросс — наверно, тогда действительно подвернул ногу, а вот случай с креплением не забыл: что было, то было.

Он достал сигареты, закурил. На щелчок зажигалки физрук повернул голову, недовольно смерил Юрия Ивановича взглядом и, опять отвернувшись, захлопал в ладоши. Двое мальчишек, щедро сыпавших известью на боковую линию, подняли головы.

— Кончайте, ребята. Нам еще для волейбольной оставить надо, — Саид подхватил ведро и, по-боксерски пошевеливая плечами, направился к соседней площадке.

Синуся пошел к школе, но Юрий Иванович заступил ему дорогу.

— Простите, Евгений Петрович. Можно вас на минутку?

Тот остановился, посмотрел вопросительно.

Юрий Иванович стыдливо, точно школьник, спрятал сигарету в рукав, переступил с ноги на ногу. Он все время помнил, что Синуся умрет в учительской, и ему было жалко его, и хотелось сейчас, в последнюю, быть может, встречу сказать, как он, Бодров, уважает Евгения Петровича, как дорожил его мнением, как страшно сожалеет, что частенько поступал и говорил так, что ему, учителю и просто порядочному человеку, становилось неловко. Извиниться за себя молодого, за свой максимализм и нередкое двуличие хотел Юрий Иванович, но как это сделать, не знал, да и не решился бы — надо ведь тогда открыться. И он с вымученной улыбкой сказал, неожиданно для себя:

— Вот вы в разговоре упомянули Бодрова. Он что: плохой человек?

Окончание. Начало см. в № 8.

— Отчего же. Вовсе нет...— Синус слегка пожал плечами. Подумал. Спросил, ясно и спокойно глядя на собеседника:— Вы, очевидно, его родственник?

Юрий Иванович помялся, глубоко затянулся сигаретным дымом.

— Да... некоторым образом.

— В таком случае вы должны Юрия знать лучше, чем я,— сухо заметил Евгений Петрович и, видимо, почувствовав эту сухость, добавил мягче:— Бодров — умный, способный, незаурядный даже в некотором смысле, но... Что с вами? — удивился он.

Юрий Иванович, вжав голову в плечи, смотрел за его спину. Заулыбался, схватил бесцеремонно учителя за плечи, развернул его. Спросил отрывисто:

— Это Владька идет? — опомнился, убрал руки.— Простите, ради бога... Это ведь Борзенков?

— Да,— Евгений Петрович одернул рукав пиджака. Дрогнул ноздрями, принюхался, и его кофейные, всегда невозмутимые глаза расширились от возмущения.— Вы пьяны?!

— Какой там пьян. Всего две рюмочки принял сегодня утром много лет назад, то есть много лет вперед,— бормотал Юрий Иванович, не отрывая взгляда от Владьки.— Вы говорите, Бодров — умный, способный. Ерунда! Вот кто умный, незаурядный. Талант, даже — гений! Сейчас я с ним поговорю,— пообещал серьезно, но, заметив, как встревожился, посуровел учитель, засмеялся.— Да не пугайтесь вы, Евгений Петрович, ничего страшного. Просто передам привет от одного... академика.— Сделал шаг в сторону, замахал рукой:— Владик! Борзенков! Иди сюда!

Тоненький, сутуловатый Владька, давно уже топтавшийся около угла школы, неуверенно подошел. Поздоровался. Посмотрел растерянно на незнакомца, вопросительно — на Синуса. Тот поинтересовался, как Борзенков сдал экзамен, поздравили с пятеркой и с тревогой взглянул на Юрия Ивановича.

— Да, простите,— опомнился тот. Огладил ладонью бороду.— Извините, Евгений Петрович, нам надо побеседовать наедине. Можно? — голос был просящий, виноватый.— Я очень хотел бы еще с вами поговорить, но не сейчас, позже. Если не возражаете. Хорошо?

— Пожалуйста. Хотя...— Синус с сомнением вытянул трубочкой губы. Посмотрел твердо в глаза.— Станный вы какой-то.

— А-а, нет, что вы,— Юрий Иванович догадался, что учитель принял его за сумасшедшего и боится оставлять ученика одного.— Не беспо-

койтесь. Я вам потом все объясню. Дело в том, что я приехал издалека, у меня мало времени, а мне надо обязательно поговорить вот... с Борзенковым,— положил руку на плечо Владьки.— Это очень важно для него. Связано с его будущим. Честное слово, ничего такого, о чем вы подумали... Ты куда собираешься поступать? — он пытливо заглянул в глаза юноше.

— Не знаю,— помолчав, ответил Владька, но по голосу чувствовалось, что знает.

— Вот видите, не знает,— обрадовался Юрий Иванович.— А я заинтересован в этом молодом человеке,— и решил соврать:— Имею отношение к одному очень солидному вузу, так что...— многозначительно задрал бороду, развел руки.

— Что ж, в таком случае... Пойду посмотрю, как мои сдают,— Синус склонил голову — попрощался:— До свидания.

Когда он отошел подальше, Юрий Иванович устало сказал:

— Давай где-нибудь сядем. Разговор будет долгий.

Они прошли к футбольному полю, уселись на одну из скамеек болельщиков. Владька замер, напряженно вытянувшись, лишь изредка вздрагивая, когда Юрий Иванович вздыхал, скреб лысину.

Юрий Иванович думал. Сначала он хотел все рассказать этому худому, очкастому мальчику, но внезапно ему пришло в голову: вдруг детская психика не выдержит, вдруг Владька станет каким-нибудь чокнутым, умственно ущербным, и тогда... Не станет физиком, не приедет навестить, не будет поездки в Староновск. Или другой вариант: Владька поверит, зазнается, почувствует себя юным гением, станет в институте учиться паршиво, закончит вуз заурядным инженером, но с большим самомнением. И опять... Неожиданно Юрий Иванович понял со страхом, как огромна ответственность каждого его слова, каждого шага здесь, в прошлом, потому что одна фраза, одно действие могут повлиять на цепочку последующих поступков людей, с которыми встретился или встретится, и эта цепочка превратится в биографию человека, в его судьбу. Он вспомнил разговор с Ларисой около стенгазеты, подумал грустно и обиженно, что теперь она, пожалуй, не будет до конца жизни любить Бодрова. И сразу же вспомнил о себе, о Юрке Бодрове, и обомлел, представив, что может повлиять на его судьбу — не дать ему стать тем, кем стал, не допустить, чтобы жизненным финалом стала поездка к Черному морю. «Не поверит, потребует доказательств,— испугался Юрий Иванович и разозлился.— Какие еще доказательства? Пусть смотрит на меня, то

есть на будущего себя,—лучшее доказательство! И биографию расскажу. Ахнет!..»

Владька нерешительно шевельнулся, задел локтем.

— Ах да, извини,—Юрий Иванович торопливо достал сигареты, закурил.— Я хотел тебе действительно многое рассказать, да передумал. Об одном прошу: поступи на физтех. Обязательно! Несмотря ни на что!

— Я и сам хотел,—будущий академик оживился и тут же сник.— Но боюсь. Конкурс там...— закрыл глаза, застонал.— И стаж производственный в этом году требуют. Двухгодичный. Так что не знаю.

— Никаких «не знаю!»—Юрий Иванович расвирипел. Повернул к Владьке страшное лицо.— Слушай меня внимательно и запоминай. Намертво запоминай, на всю жизнь,—немигающе уставился в расширенные, удивленные глаза парнишки.— Ты поступишь на физтех. Я тебе гарантирую. Сдавай смело. И с первого курса начинай заниматься проблемой времени.

Владька радостно закивал, хотел что-то сказать, но Юрий Иванович поднял руку.

— Только проблемой времени!—властно повторил он; чуть не добавил: «И ты сделаешь величайшее открытие», но удержался: вдруг все же этот мальчик зазнается?— Область мало исследована, есть где развернуться.

— Да-да, я давно думаю о четвертом измерении,—Владька сдернул очки и, нервно протирая их, засмотрелся мечтательно вдаль.— Ведь если согласно формуле Лоренца добиться, чтобы $v \ll c$, то $t \approx t_0$ первое станет равным нулю, а значит, время остановится... Неужели я поступлю? Вот было бы здорово!— он счастливо хихикнул.

— Поступишь, поступишь,—уже спокойней заверил Юрий Иванович, пораженный каким-то Лоренцом, всяческими «вэ», «цэ», «тэ первое».— Верь, в этом твое будущее. Я специально приехал черт знает откуда, чтобы сказать тебе такое.— Помолчал, вздохнул тяжело.— Ты в этом пространстве-времени таких дел наворочаешь, ого-го!

Владька тихо засмеялся. Надел очки, потер ладонями колени.

— Вы разрешите, я пойду. Надо... Надо посмотреть, как наши сдают.

— Валяй,—благодушно разрешил Юрий Иванович.— Не забудь мои слова.

— Я запомню,—мальчик вскочил. От волнения и радости он совсем сгорбился, задрал левое плечо.— Спасибо!— Потискал ладони, словно разминал в них невидимую глину.— Извините, а как вас зовут?

— Мы еще увидимся. Не сейчас, так в будущем,— ушел от ответа Юрий Иванович. Посоветовал насмешливо:— Подналяжь на спорт, а то не хватит сил для научных подвигов. Займись плаванием, что ли, или гимнастикой. А то будешь таким, как я.

Владька вежливо улыбнулся шутке, но в почти влюбленных глазах его мелькнула уверенность: нет уж, дескать, таким я не буду.

— До свидания,—расправил плечи, выпрямился, оказался молодцеватым парнем, и пошел к школе.

— Бодрова ко мне пришли!— крикнул Юрий Иванович.

Он снисходительно смотрел вслед Борзенкову и вдруг остро позавидовал этому мальчишке, у которого так ясно и красиво сложится судьба, в то время как он, Юрий, а потом Юрий Иванович, будет мыкаться в жизни, пока не превратится в тучного борова, собравшегося к морю. Солнце припекало лысину, было тихо. Школьный двор прошлого уже не удивлял, казался привычным; потрясение, испытанное утром, притупилось, и Юрий Иванович спокойно, почти равнодушно, посматривал на Саида, на стайку выпускниц, которые чинно прогуливались, сцепившись под ручки. Примчались невесть откуда пацаны, пошумели, поскандалили: «Матка-матка, чей допрос?»— и, кое-как разделившись на две команды, принялись с воплями гонять футбольный мяч.

Юра появился не скоро. Он вывернул из-за угла школы, сопровождаемый верной Лидкой. Постоял секунду-другую, раздумывая; что-то пренебрежительно приказал девушке и пошел, не торопясь, к Юрию Ивановичу. А тот, чувствуя, как снова наполняется изумлением, страхом: «Это ведь я. Я!»— угрюмо поджидал его и опять поразился, что такой, в общем-то симпатичный и, пожалуй, славный парень превратился в него, Юрия Ивановича; и опять подумал об ответственности каждого своего слова, каждого шага. Но, глядя на добра молодца Юру и представив себя, решил с самим собой не церемониться— много чести!

— Ну как, угадал я билет?— он сплюнул прилипший к губе окурочок под ноги Юре.

— Угадали. Спасибо,—юноша с откровенным пренебрежением глядел на будущего себя.

— Чего кривишься, не нравлюсь?— хамовито поинтересовался Юрий Иванович.— Ничего, привыкай.

Он нарочито развязно почесал грудь, широко зевнул, обдав себя, молодого, нечистым перегарно-табачным запахом. Юру передернуло, он отступил на шаг. Спросил резко:

— Вы хотели мне что-то сказать?

— Скажу, скажу,— Юрий Иванович порылся в карманах, достал паспорт.— Сначала почитайка вот это. Надо познакомиться, а?— Прищурился, посоветовал с издевкой:— Ты сядь, а то шмякнешься без чувств, копчик сломаешь.

Юрка покрутил непривычный, красный, с большой фотографией документ, полистал.

— Бодров Юрий Иванович,— бегло прочитал он и споткнулся. Прочитал еще раз, про себя. Поднял обескураженное лицо.— Что это? И день, и год, и место рождения совпадают. Шкодный какой-то паспорт.

— Ничего шкодного. Ты посмотри лучше, когда он выдан,— скучным голосом посоветовал Юрий Иванович. Достал деньги, расправил. Поинтересовался:— Нам с тобой десятки на обед хватит? У меня уже в животе бурчит,— и вдруг рывком вскинул голову, приоткрыл ошалело рот, захохотал.— Батюшки! Я же остался без гроша в кармане. Придется тебе содержать меня.

А Юра в это время читал:

— Выдан шестого декабря семьдесят восьмого... Тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.— Он растерянно улыбнулся, но лицо уже бледнело, в глазах, сменяясь, уже проплыли удивление, насмешка, недоверие, и в конце концов прочно поселился страх.— Это подделка?

— Какая к шутам подделка,— обиделся Юрий Иванович.— Да ты сядь, а то действительно без сознания плюхнешься,— дернул за курточку Юру, тот послушно опустился на скамейку.— Это тоже подделка? И это?— посмеиваясь, сунул ему деньги; достал пригоршню монет, высыпал в вялую ладонь юноши, развернув ее кверху.— Нет, дорогой мой... как к тебе обратиться, не знаю, это все настоящее.— Тяжело задыхался, отдуваясь и всхрипывая.— Сейчас я тебе скажу одну нелепую, дикую новость, а ты посиди, подумай. Когда придешь в себя, поговорим спокойно. Согласен?

Юра обреченно кивнул.

Юрий Иванович поднялся, расставив широко ноги.

— Я,— стукнул себя в грудь,— это ты,— ткнул в грудь юношу.— Ты,— пощекотал его пальцем,— это я!— Опять постучал себя по груди.— Только я прибыл издалека,— махнул рукой за спину,— из будущего. Понял?

Он разговаривал, как с иностранцем или глухонемым: четко и громко выговаривая слова, помогая себе мимикой, жестами.

Юра опять кивнул, но лицо было тупое, взгляд бессмысленный.

— Вот и ладно. Переваривай, а я покурю,— Юрий Иванович снова сел. Закурил.

Юра неуверенно потянул у него из рук зажималку. Оглядел ее.

— Газовая. У вас таких нет,— вновь громко пояснил Юрий Иванович и пальцами изобразил пламя.

— Не кричите,— поморщился Юра.— Я не глухой.

Он внимательно осмотрел бумажные деньги, потом каждую монету, заметил вполголоса, что одна двухкопеечная и две копеечных еще нынешнего времени, спросил, когда была проведена реформа и зачем,— на это Юрий Иванович не сумел ответить. Вернул деньги, велел Юрию Ивановичу вытянуть правую руку, нашел между указательным и средним пальцами белое пятнышко— в седьмом классе, испытывая волю, прижег в этом месте через лупу,— сравнил со своим.

— Все равно не верю. Вы все подстроили,— зажал лицо в ладони.— Этого не может быть.

— ...потому что не может быть никогда?— ехидно уточнил Юрий Иванович.— А еще считаешься начитанным. Путешествие во времени— это же затасканный, бродячий литературный сюжет. Кто только об этом не писал: Маяковский, Булгаков, Уэллс, Лем, Твен, Бредбери...

— Бредбери? Американец?— Юра насторожился.— Он нытик-пессимист.— Выпрямился.— И вообще, все эти путешествия во времени— выдумки!

— Хороша выдумка!— мелко затрясся в смехе Юрий Иванович. Похлопал себя по гулкому животу.— Пощупай, вполне материально.

Юра брезгливо скривился. Посмотрел ненавидяще.

— Неужели вы думаете, что я стану вот таким...— в голосе было отвращение. «Лысым толстяком»,— догадался Юрий Иванович. Но этого Юра сказать не решился. Выбрал неожиданное:— Таким оборванцем.

— Оборванцем?— поразился Юрий Иванович. Оглядел себя.— Странно. Ты же всегда был пижонем. На людях лицемерил, а в душе завидовал стилигам. Вот и сбылась твоя мечта, я стал стилигой. Стилягой будущего. Конечно, вид немного хипповый, но это не беда, так даже модней. Чем я плох?— Вскочил, подбоченился ернически.— Пиджак— японский, рубаха— французская. Чистый нейлон, смотри. Правда, в наше время нейлон уже не котировается...

Юра покосился, и в глазах его слабым отсветом блеснуло любопытство.

— Ага, зацепило,— торжествовал Юрий Иванович.— Вот эти спецовочные штаны, они называются джинсы, лет через десять станут твоей главной мечтой. Смотри, любуйся,— повернулся

спиной, забросил полы пиджака, похлопал себя по задку.— Вот ярлык, лейбл. Штатовские. Из-за них ты будешь слюни распускать, моралист дутый...

— Неправда это! Все неправда! — с отчаяньем выкрикнул Юра.— Я вам не верю. Ничему не верю! Не может быть, чтобы я превратился в вас!

Саид на волейбольной площадке вытянулся в струнку, посмотрел в сторону Бодровых из-под ладони. Юрий Иванович оправил пиджак, вяло помахал учителю рукой — все в порядке, декать.

— Лицом к лицу лица не увидать, большое — и добавлю: ничтожное — видится на расстоянии, — щеки и лоб Юрия Ивановича вспотели, точно их смазали вазелином.— Хочешь еще доказательств? — Он сел на скамейку напротив. Достал платок, отерся.— Могу рассказать несколько эпизодов из твоей жизни. Только это будут неприятные эпизоды. Именно они запоминаются. Хорошее забывается, а плохое житья не дает. Рад бы забыть, да... Рассказать? — поглядел требовательно и с болью.

— Ну-ну, послушаю,— Юра всунул руки в карманы брюк, качнулся.

— За комсомольское собрание, когда вlepили Владьке выговор, не стыдно?

— А-а, вас Борзенков подослал,— понимающе закивал Юра, но видно было, он растерялся: не ожидал, что пухлый бородач знает такое.— Владька хотел навязать реакционные взгляды...

— Ладно, вижу ты еще не созрел,— перебил Юрий Иванович.— В наше время генетику, о которой догадывался Владька, изучают в школе, а кибернетику уже сейчас, в ваши дни, не считают лженаукой, но... Не о том речь. Как ты бахвалился перед парнями, какую грязь нес о Лидке, рассказать? О Тонечке рассказать?

Юра заерзал, вытянул из карманов руки, отвел глаза; из-под воротника, по шее, заливая лицо, расплзалась густая вишневая волна.

— Хорошо, пощажу. Но вот одну пакость я себе, а значит, и тебе, простить не могу. Помнишь, Цыпа со своими шакалами поймал тебя в кинотеатре и приказал не ходить за Лариской? Ты не отворачивайся, не отворачивайся! — Юрий Иванович схватил его за подбородок, развернул к себе.— А ты, здоровый, сильный, заюлил, задрожал, наврал зачем-то, что с Лариской дружит Владька, и еще гадостей каких-то насочинял. Помнишь? — стиснул подбородок Юры, потряхнул слегка.— А помнишь, как в душе подленько радовался, когда Цыпа Владьку избил? Ты, народный трибун, обличитель трусости, без-

нравственности... Мразь! — и, неожиданно для себя, ударил Юрку по щеке.

— Э! Э! Не смей! — гневно и гортанно раздалось за спиной.

Юрий Иванович оглянулся.

Юра вскочил, жалобно улыбнулся.

— Ничего, Саид Хасанович, не беспокойтесь.

— За что вы его ударили? — физрук коршунном налетел на выпрямляющегося Юрия Ивановича, вцепился в руку, заломил ее.

— Не надо, Саид Хасанович, я сам виноват,— Юра втиснулся между ними, попытался плечом оттолкнуть учителя.— Познакомьтесь, Саид Хасанович, это... мой дядя.

— Дядя, не дядя — не имеет значения,— Саид, остывая, разжал пальцы.— Бить — не метод.

— Иногда метод. Особенно пощечина мужчине,— деловито возразил Юрий Иванович.— Пусть требует сатисфакции, если я не прав,— потер предплечье.— Ну и хватка у вас. Железная,— покачал восхищенно головой.— Не ожидал... Не ожидал, что вы вступитесь за Юрку,— положил руку на спину вздрогнувшему, съежившемуся Юре, подтолкнул его.— До свидания. Я вас очень уважаю, Саид Хасанович.— Отойдя, оглянулся, сказал весело: — Сбудется ваша мечта: вон там,— показал на торец школы,— построят спортзал. Верьте мне!

Юра, вывернувшись из-под его ладони, прошептал с желчным удовольствием:

— Саид подумает, что вы чокнутый.

Юрий Иванович помолчал, глядя в землю.

— Не исключено. Действительно, нехорошо получилось,— согласился без раскаяния в голосе и переменял тему: — Сейчас заскочишь домой, возьмешь деньги. Они у тебя в «Капитале» Маркса хранятся...

— Откуда вы знаете про «Капитал»? — перебил Юра.

— Ты купил его, когда увидел в магазине Синуса,— начал было спокойно Юрий Иванович и возмутился.— Все время забываешь, что ты — это я! Начиная привыкать... Возьмешь деньги и пойдем в чайную, потому что я зверски хочу есть.

— В чайную не пойду! — решительно заявил Юра.— Там пьют.

— И-э-эх,— протяжно вздохнул Юрий Иванович,— если бы это пугало тебя и в дальнейшем.

4

В почти пустой, с дешевой старомодной роскошью, чайной — плюшевые шторы, копии голландских натюрмортов в бронзированных под

золото рамах (тусклое серебро, лимоны, бокалы, дичь) — Юрий Иванович облюбывал дальний столик у окна. Усадил Юру под разлапистую пальму с острыми, жесткими, точно пластмассовыми, листьями.

— На, читай пока. Это все, что осталось от твоего творчества, — вынул из заднего кармана листок сочинения, положил на скатерть. Припечатал ладонью. — Когда дойдешь до строчек, что у нас нет «лишних людей», посмотри внимательно на меня. Но думай о себе.

И отошел к буфету, чтобы Юра мог побыть один. Пока стоял в очереди за двумя мужиками, разглядывал в витрине горки зачерствевших шоколадных конфет, бутерброды с покоробившимся сыром, скользкой на вид красной рыбой, удивлялся богатому набору давно забытых бутылочек — «Нежинская рябина», «Спотыкач», «Ерофеич», — нет-нет да и посматривал на Юру. Тот дочитал и глядел в стол, безвольно опустив плечи. Головы не поднимал, и вид у парня был убитый.

Еще бы! Он только что услышал о бывшей — а для себя будущей — жизни Юрия Ивановича: о том, что в этом году не поступит на факультет журналистики и в институт вообще — тут Юра испытал первое потрясение, — так как требования о двухгодичном производственном стаже будут соблюдаться строго, поэтому пойдет на стройку разнорабочим... Но с работы его выгонят за прогулы, и он поступит на завод учеником слесаря. «Не может быть!..» — выкрикнул Юра. Оттуда его тоже чуть не попросят, несмотря на то, что он будет активистом, стенгазетчиком, штатным выступальщиком на собраниях. В институт опять не поступит, так как за весь год ни разу не откроем учебников, ведь заниматься-то не привык, в школе все давалось само собой, а в большом городе тем более не до самообучения: девочки, танцы, треп в кафе, узкие брюки — «за которые, кстати, ты в школе чуть ли не из комсомола исключал», — бесцельное шаштанье по центральной улице. «Если бы у вас были хоть какие-нибудь газетные публикации, пусть даже в многотиражке», — посочувствуют в приемной комиссии, и Юра учит это в армии: завалит окружную газету заметками, станет чуть ли не собкором по части. «Я и в армию пойду?» — почти взвыл Юра. «Да, и на первом году едва не загремишь в дисбат: дисциплина и труд тебе окажутся не по вкусу и не по силам». Домой он вернется старшим сержантом, поступит, наконец, на журфак, «...где станешь самым ярким демагогом», но чуть не расстанется с университетом, вынужден будет жениться на девушке, которую обманул,

а к четвертому курсу с ней разведется. «Девочка она была славная, красивая, — Юрий Иванович вздохнул, — но для тебя — простушка, из деревни. Сейчас редактор районки...»

Бросив ее, Юра расчетливо обольстит дочь главного редактора областной газеты. К тому времени студент Бодров нахватает выговоров, академических задолженностей, тучи над головой стугаются, и он уйдет на заочный. Тесть устроит зятя к себе, в отдел культуры, но Юра долго не продержится, потому что писать ленился, редактировать — тем более. В итоге вскорее совсем перестанет работать и даже ходить на службу. Тесть рассвирепеет, теща перестанет разговаривать, жена примется плакать. Юра уйдет из газеты на радио, потом на телевидение, потом в киностудию — «Ты, бездарь, надеялся, что сумеешь протолкнуть свои халтурные сценарии», — потом в отдел информации НИИ, потом в другой НИИ, потом — от жены. Познакомится с перезрелой женщиной, которая будет заглядывать ему в рот, станет жить у нее, женится на ней, несмотря на всю мелочность и вздорность новой супруги, что-то напечатает, что-то издаст, постепенно его начнут считать литератором, станут приглашать на какие-то совещания, собрания, заседания. «И ты, дурак, будешь твердо уверен, что стал значительной фигурой в российской изящной словесности. Почувствуешь себя таким авторитетом, вещать начнешь, поганец, поучать, пальчиком грозить, брови хмурить». Год назад Юрий Иванович оставит и третью жену — «которую, как ни странно, ты любил», — оставит, чтобы «целиком посвятить себя литературе» и написать роман, достойный таланта автора...

— Чего вам? — широколицая нарумяненная буфетчица с сытым равнодушием смотрела на Юрия Ивановича.

Он попросил графин пива и баночку консервированных крабов, пирамиды которых уныло розовели выцветшими этикетками на полках резного буфета.

— Этих, что ли? — удивилась женщина. Пренебрежительно швырнула консервы на прилавок. Накачала ручным насосом пиво из огромной бочки. Юрий Иванович сунул консервы в карман пиджака и вернулся к столу. Около него уже стояла молоденькая официантка в стеклярусном кокошнике, в несвежем переднике и выстукивала карандашиком по блокноту.

— Что будете есть? — она повернула к Юрию Ивановичу сразу ставшее воплощением неумело скрытого любопытства лицо. — Ваш... этот клиент не знает, что заказывать.

— Неопытный еще. Все у него впереди,— Юрий Иванович поставил на стол графин, заметил, как высокомерно и презрительно дрогнули губы Юрия. Попросил:— Принесите нам, милая барышня, мяса. На ваш вкус, четыре порции. И стакан компоту.

— Что-нибудь более существенное пить не будете?

— Я же с ребенком,— Юрий Иванович укоризненно покачал головой.

Девушка глянула на Юру, усмехнулась еле заметно, повела плечиками и с достоинством удалилась от стола.

— Я возьму себе этот листок?— с требовательной интонацией спросил Юра, показал вчетверо сложенную бумажку.— Все-таки пока я написал только это, а не те горы халтуры, которые наворочали вы,— он язвительно улыбнулся.

— Дерзишь?— удивленно поднял брови Юрий Иванович.— Ну-ну, валяй.

Он налил в стакан пива, пригубил смакуя. Увидел, что по лицу Юры легкой судорогой, тенью скользнуло презрение.

— Осуждаешь?— поинтересовался насмешливо. Вспомнил, как на вечеринках у Тонечки, изображая опытного и бывалого, глотал водку. Хотел сказать об этом, но передумал.— Тебе виделось, несостоявшийся Растиньяк, неполучившийся Жюльен Сорель, что в моем возрасте ты будешь небрежно потягивать шампанское и закусывать устрицами?

— Мне вообще ничего такого не виделось,— раздраженно отрезал Юра.

— Врешь,— снисходительно улыбнулся Юрий Иванович.— Погляди-ка в окно. Вот такие шалманы станут со временем твоим единственным клубом интересных встреч.

Юра повел глазами в сторону площади. Там, прижавшись к акациям, стоял обшарпанный синий павильон, возле которого валялись пустые бочки, топтались какие-то задрипанные мужики, бродили бездомные шелудивые собаки.

— Что это вы все время только самое плохое вспоминаете?— спросил он зло.— Разве ничего хорошего у вас не было?

— Не знаю. Было, наверно,— подумав, признался Юрий Иванович. Облизнул усы.— Только я не помню. Мне кажется, что вся моя жизнь — сплошная цепочка скверны и мерзостей.

Сказав «цепочка», он вспомнил свои размышления перед разговором с Владькой на школьном стадионе и тяжело вздохнул.

— Об одном сожалею, что попал я в сегодня, а не в те годы, когда было тебе лет двенадцать — тринадцать.

— Что бы это изменило?— поморщился

Юра.— Вы все равно были бы таким, какой есть...

— Не скажи,— торопливо перебил Юрий Иванович.— Ты вот назвал Бредбери нытиком-пессимистом. Черт с тобой, называй. Но у меня с утра не выходит из памяти один его рассказ. «И грянул гром», по-моему, называется. Помнишь?

Юра кивнул.

— Опять врешь,— равнодушно заметил Юрий Иванович.— Ты его прочтешь только в институте. Как и Ремарка, и Хемингуэя, подражая которому, кстати, отрастишь эту вот щетину,— потер ладонью подбородок.— Правда; на литературных вечерах ты громил своих будущих кумиров как певцов «потерянного поколения», герои которых ушли от борьбы, сдались и прочее, и прочее, но читать — не читал.

— Вы начали про рассказ,— покраснев, напомнил Юра.

— Да-да, помню,— Юрий Иванович маленькими глотками, с удовольствием, прихлебывал пиво.— Его герои из сравнительно устойчивого и благополучного своего сегодня отправляются в далекое прошлое охотиться на какого-то динозавра. А когда возвращаются, то находят в своем времени разгул идиотизма и чуть ли не крах цивилизации.

— Почему?— у Юры заинтересованно расширились глаза.

— Потому что один персонаж, оступившись, раздавил какую-то козявку. Кажется, бабочку,— Юрий Иванович крутил в пальцах пустой стакан, задумчиво глядел в него.— Эта бабочка могла вывести других, те — других. Мириады невыведенных бабочек, которых не сожрали какие-то твари, что тоже повлияло на их, если так можно выразиться, судьбу. Я забыл доказательства Бредбери, но они логичны. Нарушено было, как говорится в наше время, экологическое равновесие, жизнь на земле стала развиваться несколько по-иному, и в результате через миллионы лет стала такой, что, когда герои рассказа вернулись в свое настоящее, они обалдели от ужаса. Понял?

— Про бабочку и миллионы лет понял,— хмыкнул Юра.— Но при чем здесь вы и я?

— При том, бестолочь, что каждый пустяк, каждый поступок в прошлом отзовется в будущем,— Юрий Иванович рассердился. Налил пиво с такой яростью, что оно выплеснулось через край стакана на скатерть.— Здесь аукнется, там,— ткнул пальцем за спину,— откликнется. Если бы я тебе в классе шестом — седьмом дал оплеуху, ты, может, не стал бы таким...

— Я уже получил оплеуху. Сегодня,— сразу

помрачнев, напомнил Юра.— Век ее не забуду.

— Вот и хорошо.— Юрий Иванович посыпал из солонки в лужицу пива на скатерти.— Слушай притчу. Как-то Бенвенуто Челлини, еще ребенком, увидел в огне саламандру и, обрадованный, закричал об этом отцу. А тот вlepил ему затрещину, чтобы сын лучше запомнил этот миг. Бенвенуто никогда не забывал подзатыльник, а значит, и саламандру. Улавливаешь?

— Значит, помня вашу пощечину, я буду помнить и...— Юра помялся, скривил иронически губы.

— Да, будешь помнить, что ты подлец,— спокойно подтвердил Юрий Иванович.— Хотя, в отличие от Бенвенутиногo отца, я действовал произвольно. Слишком уж большой дрянью казался самому себе, когда вспомнил, что науськал Цыпу на Владьку.

Юра, опустив голову, разглаживал складки на скатерти.

— Сам не пойму, как это получилось,— тихо сказал он.— Если вы— это я, то знаете, что я... что вы... что сейчас я...

— Чувствуешь себя скотиной,— пояснил Юрий Иванович.

Официантка принесла четыре тарелки жареной картошки с такими фантастически огромными кусками мяса, что Юрий Иванович крикнул. Девушка обиделась, сказала, что если товарищу клиенту порции кажутся маленькими, он может проверить раскладку и выход продукции по калькуляции.

— Нет, нет, что вы, спасибо,— переполошился Юрий Иванович и, когда официантка ушла, потер плотоядно ладони.— Почревоугодничаем?.. Я ведь ел-то сто лет назад, то есть вперед, хотя было это всего лишь в седьмом часу утра,— замер, не донеся вилку до рта.— Знаешь, у кого я завтракал? У Лариски Божицкой. На свадьбе ее дочери.

Задумавшийся Юра, лениво ковыряя еду, дернул плечом: какое, мол, мне дело. Юрий Иванович, с сожалением глядя на него, рассказал о встрече с Ларисой, о том, как она, оказывается, любила и все еще любит его, Юрия Бодрова, о поцелуе и последних словах женщины. Юра поднял недоверчивые глаза, но смутился, отвел ставший ревниво-обиженным взгляд. Юрий Иванович расхохотался так громко, что буфетчица вздрогнула, а из кухни выглянула напуганная официантка.

— Чудак, она же тебя любит. Я для нее— это ведь ты.

— Да, понимаю... понимаю,— Юра совсем смутился. Отвернулся к окну. Долго глядел на

площадь. Брови постепенно сдвинулись в раздумье, губы затвердели виновато и скорбно.— Скажите, а Владьку вы там, в будущем, видели?— спросил как можно безразличней.

— Как же не видел?— Юрий Иванович, выбиравший корочкой соус уже со второй тарелки, поперхнулся. Откашлялся в кулак.— Ведь это по его милости я сюда, кхе-кхе,— в командировку, так сказать, попал... Я возьму еще эту порцию?

— Берите, берите, я есть не хочу,— Юра суетливо пододвинул тарелку.— Как это по его милости?

— Шут его знает,— неопределенно шевельнул толстыми плечами Юрий Иванович.— Он мне о своей работе только в самых общих чертах сказал.— И добавил чистосердечно:— Все равно я ничего бы не понял в этой релятивистской зауми.

Он сначала неохотно, потом оживленной— отхлебывая пиво, пережевывая мясо, отдуваясь, взмахивая рукой,— поведал о вчерашнем дне. Юра, не шелохнувшись, слушал с лицом Фомы неверующего, вкладывающего персты в раны Христа. Попросил показать часы и, когда Юрий Иванович протянул пухлую волосатую руку, склонился над ними.

— Вот так Владька,— протянул задумчиво. Постучал осторожненько ногтем по стеклу циферблата.— А вы у него не попросили прощения за меня... то есть за себя, школьника?— спросил тихо и съезжился.

— А ты, уже немножко зная меня нынешнего, как думаешь?

— Думаю, извинились,— Юра опустил глаза.

— Приятно слышать,— Юрий Иванович довольно фыркнул.— Значит, не совсем пропащий...

— Здравствуй, Юрочка.

Тот вскинул голову, и лицо стало и растерянным, и смущенным, и горделиво-счастливым одновременно.

Юрий Иванович тяжело развернулся на этот звонкий и радостный голос.

К столу подходила, небрежно помахивая сумочкой, кругленькая, пухленькая девица. Следом шел с отрешенным, независимым видом и тщетно скрываемой блудливой улыбкой Генка Сазонов.

— Вот ты где скрываешься, Юрочка. Пиво попиваешь?— Девица положила руки на спинку незанятого стула, качнулась.— Сесть-то можно? Не прогонишь?— и засмеялась. Вкрадчиво, двусмысленно как-то.

Юра дернулся, вскочил. Глянул виновато на Юрия Ивановича, пригладил пятерней чуб.

— Я не один. Я не знаю. Садись, Генка,— указал на четвертый стул.

Но Сазонов, набывшись, не шелохнулся.

А Юрий Иванович разглядывал девицу и чувствовал, что ее голос, ее ясное, веселое лицо, ее пышные формы вызывают, неизвестно почему, легкое беспокойство, схожее с неловкостью. И тут он узнал ее — Тонечка!

— Этот дядечка с тобой? — Тонечка села, закинула ногу на ногу. Уперла локоток в стол, уткнула подбородок в ладонь. Откровенно изучающе поразглядывала недолго Юрия Ивановича и повернулась к Юре. — А вы похожи. Ничего, симпатичный у тебя родственник, положительный. Вы извините, что я при вас, в глаза говорю, — кокетливо улыбнулась Юрию Ивановичу, оценивающе задержала взгляд на его лице.

Юрий Иванович понял наконец, откуда появилось ощущение неловкости и беспокойства — вспомнил: это произойдет сегодня, потому что Тонечка организует у себя дома пирушку в честь последнего экзамена Юры, а когда поздно ночью драмкружковцы и подруги Тонечки начнут расходиться, она задержит его, и он останется, обмирая от страха, неуверенности и стыда.

Он еще раз пойдет к ней и еще. А потом зачастую, становясь все уверенней и самонадеянней, потому что опытная Тонечка будет восхищаться им, и он станет относиться к ней свысока, а вскоре и пренебрежительно. Это отношение к Тонечке он перенесет со временем на всех женщин: и на тех, с которыми будет близок, и на тех, с которыми будет едва знаком.

— Так ты, Юрочка, не опаздывай. Ведь соберемся только ради тебя, — напомнила Тонечка осевшим, потерявшим мелодичность, грудным голосом, обволакивая Юру зовущим, обещающим взглядом.

— Нет, девушка, никуда он сегодня не пойдет, — серьезно ответил за него Юрий Иванович.

— Почему это? — удивилась Тонечка и с веселой растерянностью воззрилась на Юрия Ивановича.

— Потому что... — он хотел сказать: «Я знаю, чем это кончится», но получилось бы оскорбительно, и заявил: — Юра весь день будет со мной.

— И вы приходите, — невольно вырвалось у нее, но тут же она встревожилась: вдруг этот старый дядька действительно придет?

— Это было бы пикантно, — Юрий Иванович крякнул, затрясся в беззвучном смехе.

— Вот еще! Что вы обо мне воображали? — Тонечка выпрямилась, выпятила воинственно грудь и, слегка откинув голову, погипнотизировала Юрия Ивановича уничтожающим взглядом. Встала. — Не забудь, Юрочка, мы тебя ждем, — напомнила ласково.

Юра, вишневый, с рубиновыми ушами, те-ребил складку скатерти.

— Не знаю... Я, наверно, не приду.

Тонечка и его погипнотизировала, только взгляд был не уничтожающий, а сперва изумленный, потом насмешливый.

— Дело твое. Мы и с Геночкой хорошо погуляем.

Взяла Сазонова под руку и гордой поступью удалилась к крайнему незанятому столику. Юрий Иванович видел, что будущий начальник горкомхоза стесняется, опасливо шныряет взглядом по залу — нет ли знакомых, не дай бог! — но хорохорится. К Тонечке подскочила официантка, которая, изнывая от любопытства, топталась около буфета; они схватились за руки, повскрикивали: «Тонечка!» — «Зочка!» — и, пошептавшись, одновременно повернули гневные, осуждающие лица к Юрию Ивановичу. Он поманил официантку пальцем. Расплатился.

— Идем! — приказал Юре.

Выбрался, побряхывая, из-за стола и, не оборачиваясь, вышел, сытый и довольный, из чайной.

Юра выскочил следом, пристроился рядом. Лицо было обиженно-отвердевшим — с выступившими скулами, побелевшими губами.

— Злишься на меня? — Юрий Иванович добродушно посмотрел на него. — Зря... Не забывай про бабочку из рассказа Бредбери. Я знаю, что делаю, — и, увидев, что у Юры дернулась щека, ушел от разговора. Предложил: — Пойдем в Дурасов сад?

— Вы надолго к нам? — отрывисто спросил Юра. Он смотрел вдаль ненавидящими глазами.

— Не знаю, — Юрий Иванович равнодушно пожал плечами. — Сколько Владька сочтет нужным, если, конечно, это его работа.

— А если там, в будущем, что-нибудь разладится и вы застрянете здесь, что тогда?

Юрий Иванович споткнулся, уставился на носки башмаков.

— Не думаю, чтобы Владька допустил такой просчет. Но если это случится, тогда... — Осмотрелся, прищурясь. Они стояли почти в центре площади на утоптанном, с выбитой травой, пятачке, к которому стягивались пыльные тропки. — Тогда я устроюсь кем-то вроде оракула, провидца. Стану футурологом. Начну рассказывать о будущем. Вот здесь, к примеру, — указал на синюю пивнушку, из распахнутой двери которой выкачнулись два обнявшихся мужика, — встанет современный кинотеатр «Космос»: алюминий, стекло, свет, изящные линии. Здесь, — показал под ноги, — воздвигнут замечательный монумент павшим воинам. Там, — повел рукой в сторону при-

земистого кирпичного лабаза дореволюционной кладки,— построят красивую автостанцию. И вся эта деревенская, унылая площадь похорошеет, покроется асфальтом.

Юра крутил головой, следил за рукой, но по лицу видно было — не может он представить, что вместо этих привычных лопухов, бурьяна будет асфальт, бетон, воздушные конструкции зданий будущего.

— Я поеду в Академию наук, расскажу, когда полетит первый спутник, как будут развиваться космические исследования, расскажу, что знаю, про лазер и голографию, про тюменскую нефть и нефть арабов, про Китай и Кубу, про Африку и Ближний Восток, про пересадку сердца и иммунологию, про микрохирургию и микроэлектронику, про БАМ и атомные ледоколы, про... да черт-те что помню еще я из будущего. Разве это не поможет людям, разве не ускорит прогресс? — он, сам пораженный открывшимся возможностями, радостно повернулся к Юре.

Тот, не моргая, ошалело смотрел на него.

— Спутник, космос... — повторил шепотом. И спросил: — А кто такой Лазарь? Бам? И эта, как ее, голо-графия? «Графия» — значит «писать»? Новое направление в искусстве, да?

Юрий Иванович поморгал, соображая, и вдруг захохотал, с силой хлопнув Юру по спине.

— Чего вы? — обиделся тот. Почесал макушку, тряхнул чубом. — Это ведь действительно такое дело... такое... — и насторожился, словно прислушиваясь. — А вы знаете, что мне пришло в голову? — Глаза его расширились, рот растянулся в счастливой улыбке. — Помогите мне, то есть себе, а? Расскажите все, что знаете. А? Представляете, как это мне поможет! Никто не знает чего-то, а я знаю: этим стоит заниматься, а это — ерунда. Выберу факультет в институте и с первого курса займусь проблемой, которую вы мне посоветуете. Ух ты... — он даже зажмурился, представив такую беспроектную перспективу.

Юрий Иванович понял сразу и тоже чуть не задохнулся от радости: ведь в самом деле сможет подсказать Юре что-то путное, не в науке, нет, о ней он знает только понаслышке, да и тяги к этим нудным, кропотливым исследованиям нет, а вот в литературе! Стоит подробно пересказать несколько известных книг или сценариев... И вдруг Юрий Иванович ужаснулся: «Что я? О чем я? Рехнулся?! Хочу погубить мальчишку, погубить себя!»

Но не мысль о творческой нечистоплотности напугала его; он представил, что Юра, поверив ему, наклепает, например, десяток сценариев, которые окажутся откровенной халтурой, и

будет пробивать их, твердо зная, что такие фильмы непременно со временем поставят. Ему будут объяснять, что замыслы интересные, но воплощены неумело, непрофессионально, он обозлится, испоганится, станет воинствующим графоманом, грозой редакций: подлым, завистливым, озлобленным, самовлюбленным и беспринципным. Если, конечно, доживет до такого окончательного падения, а не умрет раньше, отравленный собственной желчью.

— На чужом горбу в рай хочешь въехать? — с издевкой полюбопытствовал Юрий Иванович. — Займись, в таком случае, генетикой: хромосомы, дэ-эн-ка, код наследственности. Хоть немного реабилитируешься перед собой и Владькой за то дурацкое собрание.

— Да ну вас, — обиделся Юра, — я серьезно!

— Серьезно думал, что я помогу тебе стать липовым гением? — Юрий Иванович презрительно засмеялся. — Ну уж, дудки! Выбери дорогу сам, потому что на любом пути, поверь мне, звездные часы ох как редки. Вся жизнь — сплошные будни. Вот если их ты сумеешь сделать праздником, тогда... — облапил Юру за плечи, прижал к себе. — Без труда, как говорится, не вынешь рыбку... Впрочем, это уж пошлости.

Юра заизвивался, освобождаясь из его рук. Выскользнул, поглядел исподлобья.

— Что уж, и подсказать ничего не можете? — Голос дрожал от обиды. — Ничему вас, что ли, жизнь не научила?

— Бабочка Бредбери... бабочка Бредбери, — пропел, посмеиваясь, Юрий Иванович. — Известно, куда тебя мои советы заведут и что из этого получится.

Он не спеша пошел по тропке к пыльно-зеленой стене акации, за которой — стоит перебраться через дорогу и еще один ряд кустов, — речка.

— Ну а космос? — почти без надежды буркнул за спиной Юра. — Вы же знаете, что я пишу научно-фантастическую повесть.

Юрий Иванович вспомнил эту повесть, в которой замаскированно не очень умело была скомпилирована «Аэлита» Толстого. Беспомощная повесть.

— Можешь выкинуть ее на помойку, — деловито посоветовал Юрий Иванович. — Спутник запустят уже в этом году, а у тебя...

— В этом? — ахнул Юра, бежал Юрия Ивановича, заглянул ему в лицо. — А дальше?

— Мы первыми полетим в космос, первыми выйдем в него, — важно перечислял Юрий Иванович, но опять вспомнил о непредсказуемости того, чем обернется это знание для Юры, и прикрикнул: — Никаких вопросов! Все! Замолкни!



Он, пыхтя, пролез сквозь брешь в зарослях акации и, полуспустив от жары пиджак с плеч, перешел ухабистую, с окаменевшей грязью, дорогу.

— Одно могу сказать,— добавил брюзгливо, не поворачивая головы.— Первыми на Луну высадятся американцы.

— Американцы?! — Юра чуть не задохнулся от возмущения и неверия.— Это еще почему? Врете!

— У нас другой подход. Мы будем изучать ее автоматами. И ракету туда первыми запустим. Так что приоритет наш.

Юрий Иванович уже обогнул густой кустарник на берегу, вошел на стертые доски щелястого моста и, старательно наступая на отполированные ногами скобы, побрел по нему. На середине остановился, навалился грудью на потрескавшийся, серый и теплый брус перил, уставился задумчиво в реку. Мерно и лениво шевелилась черная над глубокими местами вода, изредка открывая изумрудно-зеленые лохмотья водорослей, облепивших сваи; визжали, мельтешили, играя в «догонялки», мальчишки, и сверху хорошо было видно их ушедшие ко дну, расплывчатые и колеблющиеся бледно-желтые тела. Все пацаны казались худыми и нескладными: то

ли оттого, что, ошалело выскочив на берег, они сжимались, ежились, пританцовывая, то ли действительно были заморышами по сравнению с долговязыми, мускулистыми акселератами будущего.

Юра пристроился рядом. Тоже навалился на перила, сплюнул в воду.

— Да, жалко,— вздохнул Юрий Иванович.— В наше время Нелета обмелеет и купаться тут станет невозможно. Построят на этом месте красивый бетонный мост, но он будет по существу над врагом.

Юра не ответил. Сосредоточенно сдвинув брови, думал о чем-то.

— Самой горячей проблемой в наше время станет защита так называемой окружающей среды,— грустно продолжал Юрий Иванович.— Ты вот, помню, на экзамене по ботанике с жаром рассказывал о великом плане преобразования природы, а мы заговорили о великом плане защиты ее.

— А когда американцы на Луну высадятся? И как их фамилии? — перебил Юра.

— На Луну? — удивился Юрий Иванович. И вдруг со стыдом обнаружил, что не знает ни год, ни фамилии. Один астронавт, кажется Армстронг, однофамилец некогда любимого

трубача Луиса-Сэчмо, а другой? А дата? Четвертое октября: пятьдесят седьмого года, двенадцатое апреля шестьдесят первого запомнились намертво, а вот человек на Луне...— Мы договорились: никаких вопросов!

— Зачем же вы тогда вообще про американцев говорили?— обиженно хмыкнул Юра.— Одно можно, другое — нельзя.

— Затем, что знаю: ты никогда никому не скажешь, что первыми на Луне будем не мы. Побойшься,— уверенно заявил Юрий Иванович. — Эта информация останется в тебе, а значит, не повлияет...

— Здоров, Бодрый! Скупнуться приканал?

Юрий Иванович повернул голову.

Худосочный парень в длинном, чуть ли не до колен, мятом сером пиджаке панибратски хлопнул Юру по плечу. Тот вздрогнул, испуганно распрямился, глянул на него заискивающе, потом — виновато — на Юрия Ивановича.

— Да нет, Цыпа. Я так.

Цыпа! Черная, несмотря на жару, кепка-восьмиклинка с микроскопическим козырьком натянута почти на глаза, хромовые сапоги, изжеванная, расстегнутая рубашка, тельняшка под ней.

Юрий Иванович почувствовал, что опять, как и много лет назад, сдавило сердце от ненависти и омерзения, как стало тяжело и душно в груди. Он развернулся, посмотрел в упор в лицо этой страшной шпане своей юности. Ничего особенного — болезненно-бледный, с нечистой, в точечках, кожей. В памяти он остался более злоеющим. И все же Юрий Иванович невольно сжался, испытал нечто вроде озноба — сработал давний страх и отвращение к этому полураскрытому рту с мокрыми губами, к этой белесой челке, к этим глазам — пустым и равнодушным, словно у вареной рыбы.

— Чо уставился, дед? Человека не видел? — лениво, враспяжку спросил Цыпа и вдруг сделал резкое движение, будто хотел ткнуть в живот двумя растопыренными пальцами с длинными грязными ногтями.

Юрий Иванович непроизвольно дернулся, прогнулся назад. Цыпа изобразил губами улыбку.

— Струхнул, поп? Не бойсь, я шучу,— и потребовал сонно: — Дай-ка закурить.

Юрий Иванович ощутил, как сердце отчаянно ударилось в грудную клетку; стало жарко и сразу же зябко.

— Пшел вон, кретин,— сказал он четко.

— Чё-о-о? — протянул Цыпа. Оглянулся удивленно на Юру. Тот бледнел, краснел, глаза испуганно бежали.— С тобой, что ли, этот фраер? — И снова к Юрию Ивановичу: — Ну-ка, мужик, повтори.

— Пошел вон,— раздельно повторил Юрий Иванович.

Он успокоился, оперся спиной о перила. На шпаненыша смотрел насмешливо. Тот, глубоко всунув руки в карманы брюк, щерился, раздувал ноздри, буравил обретшим выражение, но не страшным, а изучающим взглядом.

— Дяденьки, пустите!

Худенький лопухий мальчишка с всклокоченными мокрыми волосами деловито проскользнул между ними. Глянул торжествующе на берег, где замерли в ожидании приятели, потом — горделиво — на Юрия Ивановича: вот, мол, полюбуйте на меня, удальца-храбреца! Начал вскарабкиваться на перила.

— Ты еще, шмакодявка, тут...— Цыпа, не глядя, пихнул его растопыренной пятерней.

Мальчишка завизжал, сорвался с моста, дрыгая руками, ногами. И не успел он еще долететь до реки, не раздался еще резкий, точно доской ударили, шлепок его тела, не взметнулся еще белый, литой, похожий на стеклянный сталагмит, выброс воды, как Юрий Иванович уже схватил Цыпу левой рукой за грудки, правой, развернув, за штаны.

— Ах ты, гад, звереныш!

Мелькнуло обезумевшее от страха лицо Цыпы, блеснули подковки на подошвах сапог, взметнулись серые полы пиджака. Пронзительный, как свист, вопль заложил уши, и парень закувыркался в воздухе.

Он вынырнул с выпученными глазами, выплюнул длинную струйку воды, разинул безмолвно рот и опять скрылся, отчего пиджак, распластавшийся на поверхности, плавно и величаво, будто шлейф, скользнул следом.

— Утонет еще, скотина! — мрачный Юрий Иванович торопливо пошел к мосту.

— Ну и пусть подышает! — неожиданно и зло заявил Юра.— Вам что... Сегодня или завтра испаритесь, а этот останется.

Юрий Иванович уже ступил на мягкую траву пологого откоса. Остановился. Оглянулся удивленно.

— Однако,— качнул головой,— крут ты. Человек ведь все же.

— Человек? — Юра даже зашипел от негодования.— Что от него толку, зачем ему на свет-то надо было появляться? Душить таких мало... И не смотрите на меня так! — потребовал, поморщившись.— Мои мысли — ваши мысли. Сами говорили.

— Неужто я так думал когда-то? — Юрий Иванович, опустив голову, ковырнул носком башмака землю.— Не помню, прочитал ты уже «Преступление и наказание» или нет?

— Читал! Читал! — выкрикнул Юра. Облизнул губы. — И полностью согласен с Раскольниковым. Прав он и мыслил верно, только кончил дурачки... Во, выплыл, сволочь!

Цыпа, пошатываясь, выбирался на берег. Светлые струйки, весело журча, сбегали в воду; костюм почернел, прилип к тощему телу. Мальчишки врассыпную бросились от берега. Остановились вдалеке, со страхом и недоверием разглядывая некогда грозного, а сейчас жалкого, мокрого урку. Тот мотал головой, как от боли, стонал. Сорвал кепчонку, смял ее, отер с силой лицо.

— Ну, сука, ну, брюхатый, я тебе устрою, — закричал он булькающим от обиды, унижения голосом. — Ну, падла, ты меня вспомнишь, выпущу я тебе кишки... — Захлебнулся от ярости и бессилия. — Сделаю я тебя, сделаю! — погрозил побелевшим кулаком.

И конечно, как всегда, невесть откуда появились зеваки. Они толпились на мосту, но — вот удивительно! — молчали, не возмущались, что здоровенный мужик связался с парнишкой: знали этого хулигана.

Юрий Иванович вперевалку направился к нему. Цыпа торопливо, задом, засеменял в воду.

— И ты, Бодрый, запомни. Не жить тебе. Слезами, паскуда, умоешься! — визгливо, с отчаянием, пообещал он.

— Я-то тут при чем? Я, что ли, тебя сбросил? — взвыл Юра.

Голос был притворно сочувствующий, хнычущий и ехидно-довольный одновременно.

Юрий Иванович запнулся. Постоял. Развернулся.

— Не унижайся! — рявкнул. — Не позорь себя!

Пересек, не оглядываясь, дорогу, спустился с откоса и побрел узкой тропкой через чей-то огород. Слева зеленели на буро-серых конусах фонтанчики картофельной ботвы; справа шелест ивняка, выворачивая изнанкой узкие листья, которые взблескивали, точно юркие серебристые рыбки; впереди ровно шумел кронами Дурасов сад; над головой — синее, веселое небо: хорошо, спокойно, благодно, но сопит обиженно за спиной Юра, и Юрий Иванович кривится, как от изжоги. Он не мог, не смел судить себя юного за страх перед Цыпой, сам только что почти испытал его, но вопль Юры был уж слишком откровенный, отчаянный и подловато-гаденький, — стыдно, обидно, противно за себя.

— Испугался, что мстить будет? — спросил Юрий Иванович. У него, как всегда после вспышки бешенства, наступил спад: накатила

слабость, задрожали в запоздалом волнении пальцы. Он торопливо нащупал в карманах сигареты, зажигалку. — Свали все на меня. Отрекись.

— Так и сделаю, — сквозь зубы сказал Юра. — Зачем мне погибать от ножа какого-то ублюдка? У меня вся жизнь впереди: столько интересного можно узнать, увидеть, сделать, и вдруг — смерти! Из-за чего? Из-за какого-то Цыпы, из-за вас! Может, я стану...

— Ты станешь мной! — жестко напомнил Юрий Иванович.

— Нет, никогда! — закричал Юра и даже присел, выкинув в стороны крепко сжатые кулаки. — Не буду я вами. Не буду! Ни за что!

Лицо его было таким оскорбленным, таким возмущенно-негодующим, что Юрию Ивановичу стало жалко парня.

— Это сказка про белого бычка. Успокойся, — и хотел положить руку на плечо Юры, но тот отскочил.

— Ненавижу вас! Ненавижу. Вы думаете, с Цыпой справились, так герой? Что я вас сразу зауважал? Черта с два. Я понял. Я все понял, — он засмеялся, точно оскалился. — Это вы сделали, чтобы мне что-то доказать. Ничего вы не доказали. Если я боюсь, то и вы боитесь. Вон как пальцы дрожат... Слабак, неудачник. И вы думаете, я похож на вас? Вот вам! — показал кулаки. — Я никогда не полезу напролом, я знаю, что можно делать, чего нельзя, что можно говорить, а что — нет. Я не дурак, не самоубийца, чтобы подставлять голову из-за пустяков, из-за каких-то там идиотских принципов...

— Да успокойся ты! — Юрий Иванович испугался, что у Юры началась истерика. Шагнул к нему, но тот, почти падая, ринулся, не разбирая дороги, в кусты.

Нашел его Юрий Иванович под огромной разлапистой липой. Нелета, ударяясь в крутой, обрывистый берег, играла желтыми, вылизанными водой корнями, лопотала в ивняке; Юрий Иванович вспомнил, что это было его любимое место в детстве и позже: здесь он готовился к экзаменам, здесь уединялся летом, уверенный, что с противоположного, пляжного, берега выглядит романтически одиноким. Юра сидел, положив подбородок на плотно сдвинутые колени и обхватив руками ноги. В этой позе вид у него был обиженный и несчастный.

С той стороны ему кричали, махали какие-то парни, девушки, вольготно и праздно валявшиеся на песке.

— Это наш класс? — Юрий Иванович узнал белый одуванчик головы Витьки Лазарева, мускулистый торс Леньки Шеломова.

— Ваш, ваш,— буркнул Юра.— Видите, при-
тихли. Вас, соученика бородатого, рассматри-
вают.

— Ты бы сплавал к ним. Нехорошо откаты-
ваться,— Юрий Иванович бросил пиджак на тра-
ву, уселся рядом.— Извинись, скажи, дядя
приехал. Писатель, — он хмыкнул,— фантаст.
Одним враньем больше, одним меньше — экая
беда.

— Нечего мне там делать. Обойдутся, и я
обойдусь,— Юра выпрямился, уперся ладонями
в землю, прищурился.— Я хочу вам сказать...

— Не надо,— перебил Юрий Иванович.—
Твои мысли, планы, взгляды я хорошо помню.
Последние сутки много размышлял над этим,—
швырнул окурочек в реку, проследил, как он, за-
плясав на струе, скрылся под берегом.— Не
вздумай доказывать что-то. Все равно врать
будешь, выкручиваться, себя в лучшем свете
выставляя, а это лишнее. Твои раскольниковские
да суперменские комплексы у меня вот где,—
постучал сжатыми пальцами по лбу, по груди.—
А что вышло? — Оттопырил губу, пшикнул пре-
зрительно.— Вышло то, что ты видишь.

— И что же мне делать? — глухо спросил
Юра и крепко зажмурился.

— Не знаю,— Юрий Иванович лег спиной на
пиджак, прикрыл ладонью глаза.— Одно могу
сказать: выкинь из головы бредовую дурь о
своей исключительности. Ты такой же, как дру-
гие... И даже хуже.

— Это все?

— Это главное... Господи, как, оказывается,
замечательно — просто жить: не гоняться за хи-
мерами, не пыжиться, изображая невесть что,
быть самим собой.

Сквозь прищур, слегка раздвинув пальцы, он
увидел, как у Юры пренебрежительно дерну-
лись губы, и хотел добавить что-нибудь поучи-
тельное: не надо, дескать, понимать примитивно
— можно быть самим собой, оставаясь зна-
чительной личностью, если активно бороться за
возвышенные цели и высокие идеалы, но вове-
мя удержался. Вспомнил, что сам такую борьбу
лишь умело имитировал — а значит, и Юра знает
это,— оттого сентенции прозвучат особенно
фальшиво и вызовут смех. Да и не хотелось суе-
словить, умничать: солнце тепло пятнало лицо,
руки; пахло сырой землей, прелыми листьями,
нагретой кожей пиджака; шелестела вверху ли-
ства, бормотала негромко и весело речушка;
изредка долетали с того берега смех, крики
одноклассников. Юрий Иванович улыбался, пы-
таясь вспомнить, о чем они ржали на берегу
после сегодняшнего последнего экзамена, и не
мог — рассказывали, наверно, кто и как дура-

чил учителей. Впрочем, а был ли Юрка Бодров
в этот день с соучениками? Забылось, все за-
былось... Постепенно и шумы, и гомон стали
таять, уплывать куда-то далеко-далеко; Юрий
Иванович догадался, что засыпает, хотел встать,
но не было ни сил, ни желания: сказались и
бессонная ночь, и водка, выпитая сегодня — се-
годня? — у Ларисы, и потрясение, испытанное
утром, и обед, и Цыпа...

5

Проснулся он от легкого озноба и неяс-
ного ощущения тревоги. Открыл испуганно гла-
за — солнце уже сползло к горизонту, а в глу-
бине рощи, между деревьями, накапливался еще
не плотный, но явственно различимый сумрак.
От реки тянуло прохладой, ныл бок, в который
уткнулась банка с крабами, онемела затекшая
рука. Юрий Иванович пошевелил ею, глянул ма-
шинально на часы: 19.00. «Ого, семь вечера! —
Он выпрямился, помотал головой, потер ладо-
нями щеки. Сонно огляделся, увидел Юру и
ужаснулся.— Батюшки, весь день проспал!»

Юра, набросив на голые плечи куртку, все
так же сидел под деревом. Рядом с ним разва-
лился на траве плечистый, широкогрудый, с ру-
ками, оплетенными, казалось, одними сухожи-
лиями, Ленька Шеломов. Парни повернули голо-
вы, и по застывшим улыбкам Юрий Иванович
понял, что они только что мирно и дружно бе-
седовали. Это удивило Юрия Ивановича — Лень-
ка никогда не был его приятелем: Юрий Бодров
в упор не видел, не замечал здоровяка и туго-
дума Шеломова, особенно, когда тот помогал
после школы отцу-конюху — возил на лошади
дрова, сено, навоз.

— Идиотизм какой. Тоже мне Рип Ван Винкль
наоборот! — Юрий Иванович натянуто засмеял-
ся.— Приехал бог весть из какой дали и дрыхну,
точно пастушок на лужайке.

Ленька прыснул, сдерживая смех, отвернулся.

— Я не храпел? — смущенно поинтересовал-
ся Юрий Иванович.

— Храпели,— желчно подтвердил Юра.

— Извини, брат. Уснул я крепко: защитная
реакция на стресс, нечто вроде анабиоза,— и
вдруг удивленно ахнул: — Что это у тебя за фо-
нарь?

Юра торопливо прикрыл ладонью левый глаз.

— Ну, я поплыл,— Ленька пружинисто вско-
чил, сиганул стремительным росчерком в воду.

— Ленька, что ли, врезал? — удивился Юрий
Иванович.

— Ну да, еще чего,— обиделся Юра. Посо-

пел, сорвал травку, закусил ее.—Цыпа с кодрой приходил,—пояснил неохотно.—Я на тот берег, к своим, плавал. Гляжу, а здесь, из кустов,—мотнул головой за спину Юрия Ивановича,—Цыпа и вываливается. Ну, я сюда. Витька Лазарев, Ленка—за мной... Гад, свинчаткой, наверно, зацепил.—Он потрогал пальцами щеку, качнул головой, усмехнулся.—Хорошо, что вас эта свора сразу не увидела.

— Да-а, история,—Юрий Иванович обрадовался было, что Юра подрался, но тут же ему стало страшно. Он уже в чайной уловил какое-то странное, двойственное отношение к себе юному и сейчас внезапно понял, осознал его—это было чувство отца к любимому, но не оправдавшему надежды сыну.—Теперь этот дефективный тебе житья не даст.

— Не,—уверенно успокоил Юра.—Ленка с ним потолковал, Цыпа побоится его братьев.

Юрий Иванович вспомнил пятерых братьев Ленки. Все они, здоровенные, мордастые, уверенные в себе, работали в МТС, и Юра, когда встречал их, всегда испытывал странное раздражение и неприязнь: отчего Шеломовы вечно такие довольные и, пожалуй, счастливые, если стали обыкновенными работягами? Зачем заканчивали десятилетку, почему никуда не поступали и, видимо, не стремились ни к чему, кроме как жениться после школы и остаться до конца дней в этом затхлом Староновске.

— Бодрый! Юрка! Айда-ка сюда, сказать чего-то хочу! — заорал с того берега Ленка.

Он, подпрыгивая, пританцовывая, вытряхивал воду из уха, остановился, махнул рукой. И Витька с Лидкой—последние, кто не ушел с пляжа,—тоже замахали.

Юра вопросительно-неуверенно глянул на Юрия Ивановича.

— Надо бы уважить,—поощрил тот.—Да и мне искупаться не повредит. Взбодрюсь.

Он разулся, стянул рубаху, брюки, увязал все в пиджак. Раскинул руки, потянулся, хлопнул по белой, дряблой груди.

— Чего это вы... чего это у вас трусы какие-то бабьи? — Юра поморщился, презрительно указал взглядом на пестрые, в лютиках-цветочках, плавки Юрия Ивановича.

— Темнота, — снисходительно улыбнулся тот,—пуритане... Это последний вопль моды. Специально для Черного моря купил,—и помрачнел.

Цепляясь за кусты, спустился к воде. Взвизгнул: «А, собака, хороша!» — поплескал подмышками, окунулся, зажав пальцами ноздри и уши.

— Дай узел! — потребовал.

Принял от Юры пиджак с одеждой, поплыл,

выставив сверток над поверхностью. Теплая и почти неощутимая наверху вода внизу свивалась в холодные жгуты, терлась скользкими, тугими, словно змеи проплывали, струями о ноги. Мелькнуло в голове: «А зачем ехать к морю? Можно и сейчас...» — но мысль показалась такой глупой и кокетливой, что Юрий Иванович фыркнул. И хлебнул, закашлялся.

— Давайте вещи,—решительно попросил Юра.—Утонете еще.

— О себе позаботься, гуманист. Мой час пока не пришел,—огрызнулся, отплевываясь, Юрий Иванович.

Он уже нащупал ступнями дно. Встал, побрел к берегу. «Старею. Задохся,—подумалось тоскливо.—Раньше этот паршивый ручеек и за речку-то не считал».

Выбрался из воды. Буркнул поджидавшему Юре:

— Я в сторонке посижу, мешать не буду. Не обращай на меня внимания.

Прошел мимо притихших одноклассников, заметил, что Лидка действительно сделала шестимесячную завивку и действительно стала похожей на овцу, остановился около покосившегося плетня огорода, который подполз к самому пляжу. Бросил на траву одежду, сел рядом. Отшвырнул ногой иссохшую, тонкую лепешку коровьего навоза, вспомнил опять первую поездку в колхоз, себя, Синуся, Владьку, вспомнил, как брезгливо подкладывал в костер такие вот лепехи, они лениво, но жарко горели, и сразу же зримо, до галлюцинации четко представил огонь и увидел, как корчится в пламени, извивается, чернея, исписанная бумага, превращаясь ненадолго в гримасничающие лица знакомых, бывших приятелей, бывших, так называемых, друзей, женщин, жен, не вызывающих ни радости, ни признательности, ни зависти. Стало тоскливо, пакостно на душе, и Юрий Иванович посмотрел на Юру.

Тот стоял рядом с уже одевшимся Ленкой, слушал, снисходительно улыбаясь, Лидку. Она, сложив ладошки перед лицом, что-то быстро и умоляюще говорила. Юра, словно почуяв взгляд Юрия Ивановича, встревоженно глянул в его сторону. Отвернулся. Но тут же оглянулся снова, всмотрелся. Ткнул кулаком в бок Ленку, отмахнулся от Лидки, как от надоедливой мухи, и побрел к Юрию Ивановичу.

— Юра, я прошу тебя. Я очень прошу,—крикнула девушка и прижала к груди кулачки.

— Отстань, не твоя забота! — рыкнул через плечо Юра.

Она потопталась и, беспрестанно оглядываясь, пошла вслед за Витькой и Ленкой.

— О чем тебя Матафонова просит? — полюбопытствовал Юрий Иванович.

— А, курочка-ряба. Хочет, чтобы я сегодня же уехал. Из-за Цыпы, — Юра, поискав место, бережно положил одежду на землю. — Ну и куда мы с вами теперь?

— Не знаю, — Юрий Иванович вытянул из узла джинсы. — Надо бы по городу походить, повспоминать.

— Давайте, — вяло согласился Юра. — Заодно к Борзенкову завернем. Ребята хотят, чтоб я упрощил его мать отпустить Владьку на вечер.

— А свою-то ты предупредил? — ворчливо спросил Юрий Иванович. Он с кряхтением зашнуровал туфли. И замер, согнувшись.

Только сейчас сообразил Юрий Иванович, что ведь мать тоже здесь, рядом, и похолодел. Он увидел ее в воображении такой, какой та была в его семнадцать лет — красивой, тоненькой, с аккуратными волнами короткой стрижки, с ямочками на щеках, по которым можно сразу угадать притаившуюся улыбку, с большими карими глазами, иногда встревоженными, а чаще гордыми за сына. Ему стало страшно — ведь мать сейчас моложе его — и стыдно, и больно: во что превратился он, обрюзгший, потасканный, лысый, где растерял все ее ожидания и надежды?

— Я ей позвонил после экзамена, — бубнил Юра, одеваясь. — А на вечер все равно не пойду. Вас ведь одного оставлять нехорошо, — добавил с издевкой и осекся. — Что с вами?

— Не догадываешься? — Юрий Иванович улыбался и чувствовал, что ему становится совсем уж жутко. — Она ведь и моя мать.

— Ну и что? — машинально спросил Юра. Но лицо у него начало бледнеть, глаза расширились и расширились.

— Дошло? Вот именно: нельзя мне ей показываться, никак нельзя! — Юрий Иванович с силой шлепнул себя по лбу, стиснул его, застонал. — Зря, зря я здесь оказался. Ничего мне это не дало, кроме горечи, и чем дальше, тем горше...

— А может, все-таки вам стоит встретиться с матерью, — робко посоветовал Юра.

— С ума сошел! — испугался Юрий Иванович. — Это стопроцентный инфаркт. Ты вон какой непробиваемый и то... А она... Да и кем я ей представляюсь? Это Владька к своей может заявиться из будущего. Как же: академик, на белом коне.

— Ну и вы скажите... — начал было Юра, но Юрий Иванович возмутился.

— Врать?! Хватит, всю жизнь врал — надоело, — он сосредоточенно смотрел в воду.

Долго смотрел. — Нет, не поверит она, догадается. — Устало поднялся. Достал очки, хотел надеть, но, взглянув на Юру, протянул ему. — Возьми, нечего синяками сверкать.

— Не, не, — тот оттолкнул руку. — Не надо. Засмеют, скажут — стилияга.

Они прошли вдоль огородов по тропинке, белой от пыли, свернули в переулочек, попетляли недолго окраиной и вышли на улицу Ленина.

Низкое солнце заползло за ровную пелену облаков, окрасив их в розовое, и выглядело огромным багровым кругом. Предвечерние сумерки разлились над землей; дали скрадывались в туманном зыбком мареве, точно перспективу улицы написали жидкой тушью по мокрому серому картону. В недвижимом воздухе плавал слабый запах начинающей цвести липы. Покрикивая, носились мальчишки на велосипедах; степенно, под ручку, прогуливались важные пары в светлых шелковых и габардиновых — несмотря на теплынь — плащах-пыльниках. В шипении и потрескивании тек от Дома культуры бурненький, усиленный репродуктором, ручеек фокстрота «Рио-рита».

Юрий Иванович остановился на перекрестке, хищно шевельнул мясистыми ноздрями.

— Ах ты, милая провинция, — нараспев, не то с насмешкой, не то с грустью протянул он. — У самовара я и моя Маша... Благовеста только не хватает.

— Скажите, — Юра откашлялся, — а мать в ваше время еще жива? — и по голосу слышно было, что он боится ответа.

— Да, купила кооператив рядом с моим бывшим домом, — помолчав, резко ответил Юрий Иванович. — Только она стала совсем седая и старая.

— Из-за меня? — уныло спросил Юра.

— Из-за меня, — не раздумывая, твердо заявил Юрий Иванович.

Он развернулся и пошел навстречу музыке; шел серединой тротуара, не сбавляя уверенный шаг, и владельцы шелковых да габардиновых плащей, знавшие, что все должны уступать им дорогу, отскакивали в растерянности, чтобы не столкнуться, и долго, возмущенно смотрели ему вслед. Около Дома культуры Юрий Иванович остановился.

Вилась у освещенных окон пацаны, с деланно безразличным видом кучковались старшеклассники, которым школьная мораль запрещала ходить на танцы, мельтешили в фокстротном ритме фигуры за стеклами, монументально возвышался на крыльце легендарный в Староновске милиционер Гажушвили — усатый, с побитой оспой физиономией, желчный. Он лениво ощу-

пал взглядом Юрия Ивановича, в глазах на секунду блеснули настороженный интерес и подзрительность: «Чужой. Не наш!» Но сразу же блеск погас: рядом с неизвестным бородачом остановился известный всему городу хороший человек, правильный юноша Бодров.

Юрий Иванович нащупал Юрину руку, сжал ее — в двери мелькнул Цыпа. Он рванулся было на улицу, но, сделав лишь шаг, опять вильнул в глубь подъезда. Оттуда вынырнули одно за другим, как поплавки на воде, лица его дружков и снова исчезли. Юрий Иванович беззвучно засмеялся, забулькал горлом, захрюкал, заколыхал животом. Приобнял Юру. Тот, окаменевший — видно, предчувствовал встречу с Цыпой, — расслабился, вяло улыбнулся серыми губами.

— Завтра спектакль? — Юрий Иванович прочитал вслух афишу. — «Свои люди — сочтемся». — Добавил, поразмышляя. — Он же «Банкрот», он же «Несостоятельный должник».

— Да, — Юра смутился. — Кружковцы решили в честь моего окончания школы сделать нечто вроде бенефиса.

Юрий Иванович не забыл этого, но ведь сегодня Юра не пойдет к Тонечке, поэтому, может, никакого спектакля не будет. Он вздохнул.

— Уйдемте отсюда, — тоскливо попросил Юра.

Они прошли квартал, свернули за угол, остановились около двухэтажного, с пристроями, балкончиками, лесенками, дома, в подвале которого жили в однокомнатной квартирке Борзенковы.

— Ты хоть сейчас извинись перед Владькой.

— Без вас знаю, что делать, — огрызнулся Юра. Смутился. — Простите. Но, в самом деле, зачем вы все время поучаете?

«Ого, прощения попросил. С ума сойти можно!» — обрадовался Юрий Иванович, но виду не подал.

— Ты еще не слышал, как я поучаю, — буркнул сердито. — И не дай бог услышать.

— Ладно, я скоро, — Юра повернул кольцо калитки, скрылся во дворе.

А Юрий Иванович перешел на другую сторону, прислонился к забору и уже более внимательно оглядел жилище Владьки. Вспомнился утренний разговор с Ларисой-женщиной, ее шутки, что вот, мол, в честь Бодрова, глядишь, улицы называть станут, и подумал без зависти, что со временем этот проулочек действительно будет имени Борзенкова. Мемориальную-то доску наверняка когда-нибудь прикрепят на этой халабуде, экскурсанты будут приходить в квартиру, которая окажется почему-то на втором этаже, цокать языками, переступив порог отдель-

ной комнаты будущего академика — «Сразу видно, что жил гений: какие редкие книги, какие сложные приборы!» — осматривать мебель, снесенную со всего города; пионеры школы имени Борзенкова надраят парту Владислава Николаевича до блеска, вытирая ежедневно пыль, — парта, скорей всего, окажется не та: без царапинки, сияющая лаком. Лучшие, а значит, самые прилежные и воспитанные дети будут бороться за право сидеть на ней, и никогда им не придет в голову, что Владька ой как редко выглядел ангелом, ой как часто получал нагоняи за поведение. Дряхлые старички и старушки на сборах и собраниях примутся рассказывать о том, какой необыкновенно милый, послушный, исполнительный мальчик был товарищ Борзенков, хотя никогда не знали его ребенком...

На улице Ленина разом зажглись все фонари, и полумрак, отброшенный яркими желтыми конусами света, уплотнился до темноты. Юрий Иванович повернул голову. По тротуарам главной улицы все так же степенно проплывали габардиновые и шелковые плащи. В Староновске никогда не было никакой промышленности, за исключением ликеро-водочного, пивного заводов и нескольких артелей, поэтому финансирующая элита состояла из служащих всяческих «загот» — «скот», «зерно», «сырье» — и городской администрации. Сколько помнит себя Юрий Иванович, они всегда поражали его безмятежно-самоуверенными лицами, которые прямо-таки излучали достоинство и значительность. В детстве Юра страстно хотел стать одним из этих людей; подрастая, уже знал, что займет место среди городского начальства; взрослея, был уверен, что пойдет дальше и выше, но уважение, при котором хочется снять шляпу, прижать ее к груди и опустить очи долу, к районному избранному обществу сохранил.

Теперь же, побывав в будущем, зная, почему сотня гребешков, он с неприязнью наблюдал за местным чиновничеством и подумал с непонятным злорадством: вот эти люди и не подозревают, что рядом, в подвальной комнатенке, сидит перед матерью и умоляюще глядит на нее очкастый мальчишка, который через десятка два лет растормошит Староновск, принесет ему мировую известность. И эти важные, уверенные в незыблемости сущего, местные значительные лица будут только побряхтывать, когда неизвестный им земляк Борзенков взбаламутит тихую благодность Староновска, швырнет, словно камень в болото, в вялые и привычные заботы горожан — о женитьбах, сметах, дефиците в магазинах, отчетности перед вышестоящими — новые, непредставимые, дикие идеи, за которые

его почему-то вознесут и за которые они, отцы города, ничего не понимая в делах и проблемах товарища Борзенкова, должны будут восхищаться, восторгаться, гордиться им. «Кажется, я стал совсем уж злым и несправедливым,—недовольно поморщился Юрий Иванович.—Люди как люди...»

Калитка скрипнула, и он похвалил себя за то, что убрался от ворот,—Владьку вышла провожать мать.

— Я понимаю вас, Юра, и все-таки мне кажется это несколько, несколько...—она так и не нашла нужного слова.—Ведь будет же выпускной вечер, для чего же эта—как ее назвать?—вечеринка?

Голос был встревоженный, и хотя мать Владьки, женщина интеллигентная, старалась следить за интонациями, слышно было, что она недовольна и огорчена.

— Ну, мама, ну договорились же,—стыдясь за нее, устало сказал Владька.—Выпускной—это официально, а тут—в последний раз вместе.

Он вышел почему-то с велосипедом, и Юрий Иванович, поднатужив память, вспомнил, что именно в конце десятого класса Владька сварганил какую-то сверхмощную динамо-машину, которая давала свет, как прожектор.

— Хорошо, Владислав, хорошо, больше не буду.

— Я обещаю вам, что все будет пристойно,—с достоинством заверил Юра, и Юрий Иванович насторожился: голос опять был бархатистый, и даже с покровительственными нотками.

— Я верю вам, Юра. Вы такой прекрасный товарищ моему сыну.

У Юры хватило ума не окликнуть Юрия Ивановича, и тот, выждав, когда мать Владьки уйдет, неспешно направился за приятелями. Они, поджидая, остановились на улице Ленина. Счастливым Владька, смущенно поглядывая на Юрия Ивановича, улыбнулся, дернул головой, изображая поклон,—поздоровался.

— Значит, договорились? Я покати. Ты обязательно приходи, а то я не знаю, что там делать. До свидания,—еще раз дернул головой, прощаясь с Юрием Ивановичем.

Вскочил на велосипед. Электросистема оказалась действительно мощнейшей: габардиновые и шелковые плащи шархнулись от луча фары—подумали, наверно, что их бесшумно настиг мотоцикл...

— Где вечер?—Юрий Иванович искоса глянул на довольное лицо Юры.—У Шеломовых? У Лидки?

— Будто не знаете.

— Конечно, нет. Это для тебя кажется таким значительным—последний раз вместе с классом, а я...—Юрий Иванович увидел, как потускнело лицо собеседника. Хотел извиниться, сгладить впечатление, но решил остаться до конца честным: ведь он-то на эту вечеринку не ходил, не позвали.—А я, если помнишь, был приглашен к Тонечке и, если помнишь свое настроение до встречи со мной, быть с классом и не собирался.

— Помню,—Юра совсем перестал улыбаться, даже натянуто.—У Лидки встречаемся.

— Можно проводить тебя?

— Я не пойду!—отрубил Юра.

— Не изрекай, а главное—не делай глупостей. Ты обещал Владьке, обещал его матери. Старайся не быть трепачом,—Юрий Иванович говорил вяло, будто нехотя. Помолчал и добавил с неожиданной для самого себя грустью:—Кроме того, как ни крути, вы встречаетесь действительно в последний раз. Десять лет жили, худо-бедно, но вместе... Это будет вспоминаться, поверь,—и убоявшись, что выглядит или нравоучительным, или сентиментально-смешным, закончил грубо:—Не ломайся! Я не хочу, чтобы ты ради меня корчил из себя жертву.

— Не кричите!—так же резко ответил Юра.—Это вы жертва, а не я. Не поняли, что ли? У вас все позади, у меня—впереди...

— У тебя впереди я!—привычно, не особенно-то и вдумываясь, в эти слова, заметил Юрий Иванович.

— Исключено. Не дождетесь,—сдерживая себя, постарался как можно спокойней ответить Юра.

И все-таки реплика Юрия Ивановича испортила ему настроение. Он, ссутулившись, наклонившись вперед, словно боролся со встречным ветром, пошел вверх по улице. Юрий Иванович, посмеиваясь, посматривая по сторонам, двинулся следом.

Юра поджидал его у входа в скверик напротив церкви—там, где утром ошеломленный Юрий Иванович на цыпочках крался к своему дому.

— Хорошо, я пойду, если вы считаете нужным,—глядя в сторону, сказал юноша.—При условии—вы отправитесь со мной!

— Ни за что!—Юрий Иванович понимал, чего стоило предложить такое: наверняка Лидка упростила мать уйти, чтобы одноклассники веселились без помех, а тут явится Бодров со стариком. Вот так номер!—И не выдумывай. Я проброжу по городу, а потом мы встретимся...

— Еще чего!—возмутился Юра.—По городу, ха! Нечего по нему ночью бродить,—и Юрий

Иванович догадался, что тот боится за него из-за Цыпы.— Я тоже тогда не пойду.

— А-а, была не была,— Юрий Иванович махнул бесшабашно рукой.— Ты ведь ночуешь сейчас в сарайчике. Давай я тихонько прокрадусь туда и буду тебя ждать?

— Идея,— обрадовался Юра, но тут же сник.— Только...

— Мать не догадается, я буду тише мыши,— опередил Юрий Иванович и почувствовал, как опять заныло, заболело сердце.— Шагай вперед!

Они прошли сквериком, миновали дерево, возле которого Юрий Иванович нынче затравленно озирается, пролезли в дыру, и опять Юрий Иванович был близок к обмороку— в кухне дома его детства горел свет и даже скользнула один раз по занавеске неясная тень.

— Дома,— почему-то шепотом сказал Юра.— Значит, так, когда я зажгу в комнате свет, идите смело в сарай. Пока мать спрашивает меня да поздравляет,— он усмехнулся,— вы вполне устроитесь.

Юрий Иванович крадучись подошел к калитке, вцепился в ручку и замер.

Вспыхнул в комнате свет. Юрий Иванович рванул калитку, быстро шагнул во двор и чуть не упал. В грудь ему с силой ударились собачьи лапы, теплый язык облизывал лицо, и Юрий Иванович, отшатнувшись, увидел блестящую шелковистую шерсть, восторженно приподнятые пятнышки над глазами пса, радостный оскал.

— Тихо, тихо. Молодец, умница,— зашептал Юрий Иванович и вспомнил кличку.— Место, Рекс!

Ухоженный, барственного вида сеттер отскочил, упал на спину, перевернулся. Поскуливая, заюлил, заизвивался вокруг ног, заколошматил по воздуху хвостом. «О, господи, вот чудо-то! Узнал безоговорочно.— У Юрия Ивановича защекотало в глазах, запершило в горле.— Как он, бедный, не сошел с ума, когда любимый Юра раздвоился...» — а сам уже тяжело и неуклюже подбежал к сарайчику, распахнул дверь и ввалился внутрь. Вытер лицо, привалился к стене, чтобы отдышаться. Заранее пугаясь, что опять накатит расслабляющее, обезволивающее воспоминание, открыл глаза и сразу узнал в тусклом свете маленького оконца железную кровать, заправленную голубым одеялом, стол с керосиновой лампой, табурет, карту мира на стене, но, оказалось, все выглядит незнакомым, чужим.

Снаружи изнывал, плакал Рекс.

— Ну-ка, на место. Я вот тебе! — зашипел, затопал Юрий Иванович.

Пес стих. Юрий Иванович осторожно приоткрыл дверь, увидел, как уходит собака, опустив понуро голову, и сразу потерял ее из виду— перевел взгляд на веранду, освещенную голый яркой лампочкой, на перила с тонкими блясынами, на темные кружевные спирали вьюнков, которые стыдливо, робко тянулись вверх по невидимым отсюда нитям. Сеттер подошел к крыльцу, оглянулся виновато на сарай и, встав передними лапами на ступеньку, вытянулся в неудобной, напряженной позе.

Ждать пришлось долго. Наверно, мать усадила Юру ужинать, расспрашивала, удерживая около себя. Юрий Иванович терпеливо, не шелохнувшись, не изменив позы, стоял у щели, прислушиваясь к тихим шорохам во тьме, к еле ощутимому намеку на аромат ночных фиалок, который преследовал в воспоминаниях о детстве, и поймал себя на том, что отвлекся, что блуждает мыслью в сегодняшнем и вчерашнем дне, поглядывает в небо, выискивая звезды, виденные утром. Опустил глаза и даже вздрогнул, увидев на веранде, рядом с Юрой, какую-то девушку в светлом платье, но сразу же, одновременно с удивлением, ударило под сердце, в голову— мать! Она оказалась еще миниатюрнее и красивей, чем в воспоминаниях. Было далеко, глаза слезились от напряжения, но Юрий Иванович каким-то обострившимся зрением увидел и ее счастливое лицо, и улыбку, притаившуюся в уголках губ, и легкую, от сдерживаемого смеха, дрожь подбородка. «Мать, это же она»,— твердил Юрий Иванович, но не чувствовал ничего— женщина на веранде оставалась симпатичной, миловидной, но чужой, и только когда она знакомым движением нервно сжала горло длинными пальцами, губы ее на долю секунды скорбно стиснулись, а в глазах мелькнули тревога и боль, Юрий Иванович сразу увидел мать в будущем— поседевшую, заплаканную,— и перехватило дыхание, и чуть не вырвался крик. В плече часто и колко задергалась какая-то жилка. Юрий Иванович отшатнулся от двери, сжал до боли в висках зубы.

Когда снова решился посмотреть в щель, Юра уже подходил к сараю, а мать, задумчивая, сгорбившаяся, смотрела ему в спину. Юрий Иванович отскочил, сшиб табуретку, подхватил ее, сел на кровать.

— Я вас замкну,— деловито зашептал Юра, проскользнув в дверь,— а то вдруг она надумает сюда зайти. Но это ненадолго,— вынул из пазухи полукольцо твердой копченой колбасы.— Больше ничего не мог спереть,— пояснил, будто извиняясь.— Я скоро приду. Свет райтесь не зажигать и...— помялся,— если мо-

жете, не курите. Мать здорово чует это дело.

Пошарил глазами, схватил со стола первую попавшуюся книгу. На пороге обернулся, тихо засмеялся:

— Вот гадство, с собакой-то чуть не влипли. Я думал, она дома. Когда проходил по двору, не было, а захожу в хату: здрастье — гуляет!

Хлопнула дверь, брякнул засов, щелкнул замок, и Юрий Иванович остался один.

Он понюхал колбасу, погладил пальцем гладкие шишечки, вздутия на ее боках, улыбнулся — в детстве, в классе третьем-четвертом, это было самым большим лакомством, самой большой радостью для Юрки. Мать в летние каникулы возила его в областной город: на трамвае покататься, большие дома посмотреть, газировкой и мороженым побаловаться, и в первом же привокзальном гастрономе покупала твердую, вкусно пахнущую колбасу, и они сидели на какой-нибудь скамейке под пыльными, чахлыми кустами, откусывали поочередно то от, похожей на эту, кривой колбасной палки, то от длинной, с золотистой корочкой, булки, внутри которой был белый-белый, сминающийся под пальцами мякиш; смотрели друг на друга, улыбались, и им было хорошо.

Юрий Иванович положил колбасу на стол и откинулся к стене. Слабо улыбаясь, он был еще там, в далеком для Юрия Ивановича и совсем недавнем для Юры детстве, вспомнив которое, все время видел перед собой мать — и эту, стоящую на веранде, с встревожившимися на мгновение лицом, и ту, будущую, располневшую, усталую, погасшую, и увяла улыбка, и стало вскоре так неумолимо от стыда и тоски, что, верь он в бога, упал бы сейчас на пол, взвыл бы, поклялся бы, повзнил, дал бы любой обет, лишь бы вырвать из сердца эту боль, это отчаяние от невозможности исправить, изменить хоть что-то в жизни.

Долго сидел он, чувствуя, как уплывают, истаявают силы, как остается от него, Юрия Ивановича, одна пустота, то гуляка, будто внутри колокола, то звенящая, точно далекий занудливый комар, и в пустоте этой, сначала смутно и расплывчато, но постепенно заполняя ее всю, вырастали думы о Юре. Юрий Иванович уже отстранился от него, не считал собой, и то чувство, которое смутно возникало в чайной и прояснилось на берегу, когда увидел синяк под глазом, чувство отца к сыну, ширилось, крепло, превращаясь в тревогу за судьбу этого чуждого парня.

Сумерки в сарае сгустились до плотной тьмы,

но Юрий Иванович не замечал этого. Он видел какой-то солнечный, яркий день и Юру — веселого, в белой рубашке, смеющегося: то среди колб, реторт, пробирок, то среди каких-то хитроумных машин и приборов, то плавающим в невесомости в кабине космического корабля, то в накомарнике и болотных сапогах среди чахлах елок и кустарника, то даже за штурвалом комбайна или у непонятого гигантского станка.

Юрий Иванович позабыл о месте, где находится, о времени, глядя на эти, наползающие одна за другую, картины, будто смотрел по черно-белому телевизору подряд все передачи про хороших и интересных людей. Видения и похожи-то были на экранные изображения — плоские, иногда контрастные, иногда смазанные, — и Юрий Иванович мельком отметил в памяти, что, наверное, и вызваны они подсознательной завистью к тем, кого показывают в телепрограммах, хотя всегда считал, что презирает этих героев на час. И еще мелькнуло, словно думал о постороннем, что, скорей всего, вызвана эта зависть не тщеславием, а тоской по конкретному, реальному делу, в котором имеется нечто материальное, осязаемое, есть задача и решение ее, есть заранее ожидаемый результат и получение его.

Но ни разу не увидел Юрий Иванович Юру не только писателем, но и журналистом; когда же мелькнуло из-за этого недоумение, он задержал его, задумался, посуровел и чуть не вздрогнул, точно проснувшись, — так ненавистна показалась сама мысль, что Юра, обделенный даром божьим, будет вымучивать слова и фразы, исходить, в лучшем случае, патокой фальши, а в худшем — превратится в него, Юрия Ивановича.

Вдруг его даже в жар кинуло — как нет божьего дара? Вспомнил афишу у Дома культуры, вспомнил, как не раз ловил себя на том, что держится, даже оставшись один, словно на сцене, и, обрадованный, решил, что нашел разгадку себя молодого — он актер, и все, что делал, было игрой. Играл в активиста, играл в принципиального борца, играл в рубаху-парня. От такого вывода стало неловко, и Юрий Иванович принял торопливо припоминать, каким был в драмкружке. Талантлив? Кто знает, но во время репетиций становился по-настоящему счастлив; в образ входил легко и действительно чувствовал себя другим: то вальяжным, то хитрым, то злым, то мудрым, то простофилей, если роль того требовала. Да и товарищи по сцене с ним считались, восхищались, кажется, искренне — не раз Юра замечал, войдя в роль, что наступала вдруг тишина, а партнеры и партнерши

смотрят на него изумленно и растерянно, будто на незнакомого.

Юрий Иванович хмыкнул, огладил бороду. «И при поступлении никакого двухгодичного стажа не надо,— он заворочался, заулыбался, однако вскоре приуныл.— Богема, правда, черт ее дери...»

Повздыхал и начал, сперва несмело, потом настойчивей, уверять себя, что не все, дескать, артисты богемы, что Юра не такая уж тряпка, есть ведь и у него воля, неужто не устоит? Конечно, устоит, тем более, что станет заниматься любимым делом, а это — ого-го! — самое главное. Но еще главнее — Юра сможет прожить не одну, унылую и безрадостную, бесполозную жизнь, а множество: ярких, страстных, красивых. И он уже видел Юру то Штирлицем, вместо Тихонова, то Гамлетом, вместо Смоктуновского, то Гуровым, вместо Баталова; он видел, как задумчивый и отрешенный Юра сидит в гримборной, а потом, все такой же сосредоточенный, чтобы не расплескать найденный образ, идет темным павильоном туда, где съезжаются люди, громоздятся прожектора, а на ярко освещенной площадке поджидает нереальная среди щитов, фанеры, досок гостиная с розовыми обоями, гнутой мебелью, лампой под зеленым абажуром, и уже нервничает, ломает пальчики субтильная героиня в гипюровом платье и с бутоньеркой незабудок на корсаже.

Иногда видения эти заслонялись портретами Юры в журналах «Советский экран», «Спутник кинозрителя»; Юрий Иванович, нахмуясь, гнал такие крамольные мысли-сброды, но они манящей, сладкой контрабандой всплывали все отчетливей, отражая затаенные давние мечты о признании, популярности, славе, и Юра представлял то в белом смокинге, среди вечерних туалетов, атласных лацканов, манишек, обнаженных женских плеч, то около кинотеатра «Россия», над которым лениво колышутся флаги кинодержав, раздающим автографы восторженным поклонницам в мини-юбках...

Радостно гавкнул Рекс, заизнывал, заскулил, затоптал часто и беспорядочно. Юрий Иванович настороженно повернул голову. Скрежетнул замок, брякнул засов, скрипнула дверь. В сером ее проеме вырос силуэт Юры.

— Вы здесь? — испуганно спросил он.

— Здесь, здесь, — добродушно отозвался Юрий Иванович. — Входи.

Ему показалось, что он услышал довольный выдох, но обрадоваться этому не успел — Рекс скользнул мимо Юры извилистым длинным пятном, ткнулся мокрым носом в щеку, в губы.

— Тьфу, напугал! — сплюнул Юрий Иванович.

— Место, Рекс! А ну пошел отсюда! — притворно страшным голосом гаркнул Юра, и пес так же стремительно исчез в ночи.

Юра чем-то стукнул по столу, звякнул. Чертыхнулся шепотом.

— Я схожу к матери, отмечусь, — сказал деловито и грубо. — Потерпите еще немного.

Дверь захлопнул, но Юрий Иванович встал, приоткрыл ее. Проследил, как Юра сгустком черного прошел сквозь тьму, вынырнул из нее, облитый светом лампочки веранды, взбежал легко и пружинисто на крыльцо, исчез в доме. Юрий Иванович окликнул Рекса. Тот возник сразу и, ластясь, взблескивая колдовской прозрачной зеленью глаз, шмыгнул внутрь. Юрий Иванович долго тискал его, тормозил за длинные мягкие уши, зарывался лицом в густую, почти не пахнущую псиной шерсть.

— Посмотрите-ка на него. Ай да Рекс! — Юра опять возник в двери. — Интересно, как он вас себе представляет?

— Мне гораздо интересней, как ты себя представляешь, — Юрий Иванович оттолкнул собаку, которая стремительно нырнула под кровать, охлопал руки.

Юра промолчал. Запер дверь, повозился у стола.

— Зажгите спичку.

Синевато-белый огонек зажигалки отшвырнул ночь в углы, кинул по стене огромную, переломившуюся на потолке, тень Юры, сверкнул бликами на гладком боку длиннорлой бутылки, белом изгибе тарелки.

— Что это? — удивился Юрий Иванович.

— Это я от Лидки принес. Набрал всего понемногу. Вы обедали-то когда, есть, наверно, хотите?

Юра взял зажигалку, зажег фонарь. Стало светло, уютно, буднично.

— Спасибо. Есть я, правда, не хочу, но спасибо... Весело было?

— Да всяко. И весело, и не очень. Болтали, вспоминали. Девчонки даже слезу пустили, — Юра сдернул с крючка раскладушку, с треском расправил ее алюминиевые суставы. — О вас много спрашивали.

— Вот как? — Юрий Иванович не удивился, но решил, что надо изобразить изумление. — Поразил я одноклассников?

— Ага, — сухо подтвердил Юра. — Они подумали, что вы «с приветом». А я вас представил писателем-фантастом, которого не печатают. Про космос рассказал, про то, как здесь всякие дома понастроят. Про бабочку эту самую расска-



зал, будто вы такой рассказ написали, но вас, оказывается, опередил американец. И еще будто вы написали, как один мужик в свое детство попал и сам с собой встретился.

— Не догадались? — встревожился Юрий Иванович.

— Не, кто ж такому поверит. Один Владька вроде что-то почуял... Мы поделимся с вами постелью? — Юра подошел к кровати, посмотрел исподлобья.

— Конечно, конечно, — Юрий Иванович вскочил. — Пойду покурю. Не бойся, я в рукав. Мать, если выйдет, не заметит.

— Она не выйдет. У нее голова разболелась. От радости за меня, должно быть, — Юра усмехнулся. Сдернул одеяло, простыню, а когда Юрий Иванович приблизился к двери, добавил полуудивленно, полунасмешливо: — Она мне знаете чего наговорила? Будто весь день места себе найти не могла: все казалось ей, что мой отец где-то рядом бродит. Вот хохма, да?.. Может, она вас каким-то образом почувствовала? Я уж и сам сомневаться стал: а вдруг вы — это не я, а батя? Если бы не знал точно, что он под Ясной Поляной погиб, поверил бы.

Юрий Иванович, откинувшись затылком к теплым, шершавым доскам сарая, смотрел в

небо и пытался проглотить горький, колющий комочек.

— Ты ее не огорчай, — хрипло сказал он. Кашлянул, прочистил горло. — Самая великая это мука видеть ее слезы да седину, поверь мне.

— Я, что ли, ее огорчал? — неуверенно отозвался Юра. — Вы ее и обидели, когда...

— Что ты, что я — один черт! — перебил Юрий Иванович. — Не найдешь ты себе за это прощения в старости. Сам себе простить не сможешь.

Он, разжав пальцы, выпустил окурок, скользнувший к земле красной, светящейся линией. Наступил на него, раздавил, крутнув подшву.

Вошел в сарай. Юра сидел на раскладушке, широко раздвинув колени, положив на них руки, отчего кисти их свисали как-то безвольно и обреченно.

— Выпьете? — кивнул на бутылку, и взгляд стал выжидательно-пренебрежительным. — Хочется, наверно?.. Давайте, я ваши крабы на закуску открою, — протянул ладонь, шевельнул пальцами.

— Крабы — табу. Это подарок товарищу Борзенкову, — Юрий Иванович сел на кровать,

почти лег, выставив живот.— А ты выпьешь со мной?

— Нет, не буду. Не хочу.

— Ну и я не буду,— Юрий Иванович выпятил в раздумье нижнюю губу, шевельнул пальцами по одеялу.

— Мы как на вокзале. Перед прощанием,— заерзал Юра.— Все сказали, а времени еще навалом... Ну что, дала вам что-нибудь эта поездка сюда?

— Мне?— Юрий Иванович перекатил голову по стене, посмотрел изучающе.— А что она могла мне дать? Все это, семнадцатилетие свое, я уже пережил когда-то... Так, картинки прошлого, как в музее,— он говорил нарочито скучным голосом, чуть ли не зевая, чтобы позлить Юру.— А тебе мое появление что-нибудь дало?

— Конечно,— Юра дернул вяло плечом, оглядел свои руки.— Я уже говорил вам, что никогда таким, как вы, не стану. Теперь знаю это твердо.

— Дай-то бог,— Юрий Иванович отвернулся, посмотрел в потолок.— Пока тебя не было, я думал о твоей судьбе. И решил: знаешь, кем тебе надо стать?

— Кем?— в голосе Юры скользнули тревога и даже испуг.

— Поступай-ка ты, братец, в институт кинематографии. На актерский. А потом, глядишь, и режиссером станешь. Конечно, конкурс бешеный, но, думаю, ты пройдешь. Способности у тебя есть...

— Какие там способности,— засмутился Юра.

— Знаю, что говорю,— оборвал Юрий Иванович.— Лицедей ты отменный... В конце концов, думая о твоём будущем, я забочусь и о себе.

И, не спеша, с паузами, словно размышляя вслух, принялся рассказывать о кино, о малокартинье, которое как раз в эти годы будет осуждено, о фильмах, которые потрясли или просто понравились, о режиссерах и актерах, о кинофестивалях и кинозвездах, о «новой волне» и «рассерженных молодых людях», о Феллини, Антониони, Курасаве, Бергмане, Михалкове...

Юра слушал тихо, не перебивая, не переспрашивая.

Юрий Иванович поднял голову.

Юра спал, сунув под затылок ладони. Лицо было ясное, спокойное, рот слегка приоткрыт, и в уголке его, совсем по-детски, поблескивала слюна; иногда он чмокал, дергал губами и тогда обиженно, беззащитно морщился.

Юрий Иванович встал, убавил фитиль, пока тот не превратился в тоненькую сияющую полосу; сразу подползли из углов тени, окружили прозрачным полумраком стол. Юра застонал,

повернулся на бок, промычал что-то и задышал ровно, глубоко, точно мужчина, уставший от не легких забот и трудов.

Юрий Иванович лег на кровать, тоже подсунил руки под голову, как незадолго до этого Юра, и уставился в потолок. Стало грустно, но не тягостно-грустно, не пасмурно на душе, не тоскливо, а так, как бывает, когда, набегавшись по городу, вымотавшись в пустопорожней болтовне и сутолоке житейской суеты, окажешься вдруг где-нибудь на весенней поляне в березовой роще, среди белых, словно вертикальные столбы света, стволов, и оглянешься, и изумишься, и сядешь, задумавшись, в мягкую зеленую траву. Юрий Иванович увидел и эту поляну, этот березовый свет, потом он увидел свою комнату у Ольги Никитичны, потом — сильные, ленивые волны моря, медленно и широко несущие к нему от горизонта белокурчавые гребни свои, и ему стало беспокойно, тревожно, он понял, что должен — будь что будет! — пойти сейчас к матери, упасть к ее ногам, выплакаться, вымолить прощение.

Юрий Иванович вскочил, глянул испуганно на Юру и, крадучись, выбежал из сарая в уже разгоравшееся, сияющее, с веселым солнышком, ударившим в глаза, утро...

6

*«Директору Института физики полей
АН СССР*

тов. Берзину Э. В.

от заведующего СТО

(сектор теоретических обоснований)

Бодрова Ю. И.

Заявление

Прошу откомандировать меня в распоряжение т. Борзенкова В. Н. для работы в его лаборатории. Исследования, проводимые там, являются важным этапом в разработке нашей, совместной с т. Борзенковым, темы, начатой еще во время учебы в институте. Сейчас намечается серия экспериментов, которые должны подтвердить (или опровергнуть) наши теоретические построения и расчеты, поэтому я обязан быть в г. Староновске.

26 января 82 г.

Ю. Бодров».